

Наринэ Абгарян
МОЛЧАНИЕ ЦВЕТА



Наринэ Абгарян
Молчание цвета

«Издательство АСТ»

2022

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

Абгарян Н. Ю.

Молчание цвета / Н. Ю. Абгарян — «Издательство АСТ», 2022

ISBN 978-5-17-147565-9

Мне всегда везло на хороших людей. Каждый из них вставлял важный кусочек мозаики в ту неоконченную картину мира, которую я себе рисовала. Каждый приносил то, чего не хватало именно мне. Каждый обязательно чему-то учил. По большому счету, я – результат их стараний, их бледная тень. Время течет, и жизнь непозволительно убыстряется, великодушно оставляя рядом самых близких, самых важных. Самых любящих и милосердных. Им не нужно ничего объяснять, с ними можно не бояться быть слабой или глупой. Перед ними нет необходимости оправдываться – они простили меня накануне дня моего рождения, без условий и навсегда. Потому все, что есть у меня сейчас на душе, – благодарность и любовь. Благодарность и любовь.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-17-147565-9

© Абгарян Н. Ю., 2022
© Издательство АСТ, 2022

Содержание

Молчание цвета	6
Часть 1	6
Четыре: зеленый	6
Восемь: синий	10
Два: черный	14
Три: желтый	20
Один: белый	26
Семь: молчание цвета	32
Часть 2	37
Девять: фиолетовый	37
Пять: красный	42
Конец ознакомительного фрагмента.	45

Наринэ Абгарян

Молчание цвета

Сборник

© Наринэ Абгарян, текст, ил., 2022

© Сона Абгарян, ил., 2022

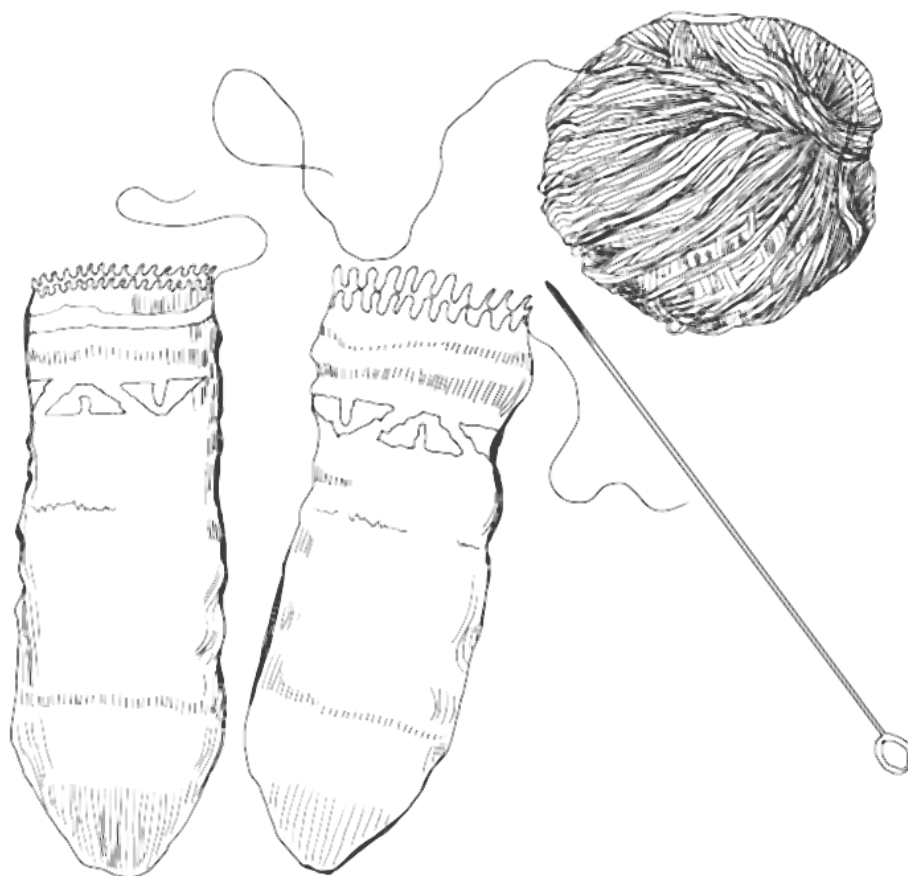
© Юлия Межова, обложка, 2022

© ООО «Издательство АСТ», 2022

Молчание цвета

Часть 1

Четыре: зеленый



– Где этот Астцу зулумат? – причитает бабо Софа, теребя в руках недовязанный шерстяной носок – гулпа. Растопыренный круглыми петлями носок распорот ровно на треть: остался синий низ, оранжевая пятка, желтая полоска и край фиолетовой. Зеленая и едва начатая красная полосы отсутствуют, только мелкие петли торчат.

Виновник торжества, семилетний внук Левон, спешно покинув эпицентр событий, прячется в саду. Перед тем как выскочить из дома, он предусмотрительно натянул отцовскую толстовку и обмотался дедушкиным шарфом: неизвестно, сколько придется отсиживаться в укрытии, пока бабо Софа перекипит. На дворе южная зима – влажно-промозглая, крепчающая к ночи до пронизывающего кусачего холода.

Гулпа повторяли расцветку деревянной пирамиды, которую кропотливо и преданно, деталь к детали, собирает старший брат Левона, Гево. Нижний круг пирамидки синий, а далее, в порядке уменьшения, следуют ярко-оранжевый, желтый, фиолетовый и красный. Конструкцию венчает конус цвета смуглой зимней ели – Левон называет темно-зеленый именно так, да

и как по-другому можно называть цвет, который точь-в-точь воспроизводит припорошенный снежной крупой еловый! Если осторожно, стараясь не смахнуть робкий снег, залезть под растущую на самом отшибе сада ель – сучковатый ствол, ржавая шелуха веток, согнутая крючком верхушка, – и расположиться поудобнее (одна рука под головой, другая греется в кармане, ноги же свободно раскинуты), крепко зажмуриться, вдохнуть сыроватый, миглом проникающий в легкие аромат хвои, а потом, спустя долгие мгновения, медленно выдохнуть и разжмурить глаза, то обязательно поймаете именно тот серовато-мглистый, пасмурный, отдающий свежим и в то же время лежалым зеленым, который Левон упорно называет смуглым. Такой смуглостью, пожалуй, отдает еще мшистый подол летней реки, перед самым закатом, когда вода, прекратив отражать свет, принимается ненасытно вбирать его в себя, судорожно и взахлеб, словно пугаясь того, что следующего раза может не случиться.

– Где этот Астцу зулумат? – надывается бабо Софа.

Левон лежит на мерзлой земле и, ощущая затылком ее безразличное дыхание, разглядывает сквозь бурые прожилки продрогших еловых лап блеклый звездный первоцвет. Он уже знает, что никогда не скучаешь по весне так, как зимой, когда до солнца еще далеко, два месяца с лишним, а то и дольше. Настанет тепло только за трендезом¹, на пороге большого поста, придет разом и неожиданно, так всегда бывает, вчера еще снег лежал, а сегодня уже вылупилась первая крапива – нежно-сочная, совсем не кусачая, бабо Софа припорошивает ее каменной солью, растирает в ладонях и кормит всех, кто попадется ей на глаза: внуков, мужа, сына с невесткой, шумную домашнюю птицу... И даже собаку Ашун пытается кормить, но та отползает, резво орудуя кривоватыми лапами, сгребая круглым пузом дворовый сор.

«Зачем собаке крапива?!» – откровенно недоумевает всем своим толстеньким, курчаво-волосатым телом она.

– Разве кому-нибудь свежая трава причинила вред? – возражает бабо Софа, переводя мятежную собакину позу в слова. И выжидательно умолкает, словно добиваясь ответа.

Ашун прячется за конуру и оттуда дипломатично виляет хвостом.

– Дурья твоя башка! Окачу ледяной водой – будешь знать! – не дождавшись мало-мальски вразумительного объяснения, ворчит бабо Софа. Ашун тут же выскакивает из-за конуры и летит опрометью к любимой хозяйке, потому что знает: нет в ее обращении ничего обидного, а только ласка и любовь. В Тавушском регионе Армении, где обитает семья Левона, нежные чувства принято выражать словами, которые, казалось бы, совсем не приспособлены для того, чтобы обнаруживать привязанность. Всякое слово здесь имеет множество значений зачастую совершенно противоположных, и все эти объяснения зависят не от прямого смысла произнесенного, а от того, с какой интонацией оно было сказано. Потому, если, к примеру, девушка говорит молодому человеку – сейчас так звездану, что дух испустишь, – вполне возможно, что она не расправой ему грозит, а совсем наоборот – признается в нежных чувствах.

– Барабанная ты шкура! Один толк от тебя – бессмысленный лай и ключья шерсти по всему двору, – приговаривает бабо Софа, делано хмурясь и почесывая собаку за мохнатыми ломаными ушами. Ашун счастливо повизгивает и подскакивает, норовя лизнуть хозяйку в морщинистую щеку.

– Где этот Астцу зулумат? – голос бабушки, набирая силу, гремит по дому, заполняя собой два верхних этажа и гулко отзываясь эхом в погребках – большом и малом. Интонации такие, что сомнений не остается – она еле сдерживает гнев. Гулпа распорота почти на треть, некоторые из петель успели уползти, и теперь придется их подбирать английскими булавками, подслеповато шурясь в толстые стекла очков, а потом довязывать, неустанно причитая и призывая в свидетели предков – живых и мертвых, и проводить обличающие параллели. Из мертвых за поведение Левона держит ответ прапрадед Мамикон, которого в свое время про-

¹ Армянская Масленица.

звали Безумным и благодаря которому их род окрестили Анхатанц, то бишь Собственниками (так ругали людей старого, дореволюционного кроя и мышления). В годы коллективизации, когда по требованию новоявленной советской власти, назначившей своим главным врагом частную собственность, крестьяне вынуждены были сдавать в колхозное хозяйство домашнюю живность, среди них находились такие, кто отказывался это делать. Прапрадед Мамикон тоже оказался одним из этих строптивцев. Будучи человеком вспыльчивым и в гневе неуправляемым, он, после долгого и напрасного разговора, увещаний и просьб образумиться – ну где это видано, чтобы отбирали кормилицу-корову! – избил до полусмерти председателя колхоза, пламенного большевика Чагаранц Вилика, а ночью спалил его дом. За подобный проступок Мамикона сослали в Сибирь, откуда он так и не вернулся. А его семья, в которой из семи детей из-за голода выжили только двое, вынуждена была существовать в крайней нищете, с клеймом врага народа.

Когда Левон беспричинно артачился и упрямился (а делал он это, говоря по правде, по сто раз на дню), бабо Софа возводила глаза к потолку и призывала к ответу того самого Безумного Мамикона.

– Почему из всех предков этот ребенок унаследовал именно твой дрянной нрав?! – возмущенно выговаривала она, попеременно колотя кулаком себя в грудь и указывая комком влажной тряпки, которой протирала с комода пыль, на Левона. И непременно добавляла, горестно вздохнув: – Нет чтобы ему достался чей-нибудь другой, ангельский характер!

Под чьим-нибудь ангельским характером бабушка, несомненно, подразумевала свой.

Левон, делано потупившись и с нетерпением переминаясь с ноги на ногу, ожидал конца отповеди – в кармане копошился цыпленок, которого он увел у наседки. Двух других цыплят бабушка отобрала и вернула в птичник, а про третьего не подозревала. Догадалась бы – ответ за Левона пришлось бы держать не только прапрадеду Мамикону, но и деду Геворгу. А он, в отличие от Мамикона, предусмотрительно почившего в бозе до рождения правнука, не только жив, но еще и женат на бабо Софе. Целых сорок девять лет и восемь месяцев.

У бабо Софы три врага: соль, сахар и собственный муж. Соль в ответе за плохую работу почек, сахар – за лишний вес и испорченные зубы, а за все остальные беды и испытания, сыплющиеся словно из рога изобилия на голову человечества, отдувается дед Геворг. И не имеет значения, какого рода это беды: природный катаклизм, птичий мор или покореженная из-за дождевой влаги деревянная крышка бочки. Широко и якобы отстраненно порассуждав о произошедшем (не забывая притом делать непрозрачные намеки), бабушка всегда завершает свою речь одними и теми же словами: «Если бы в свое время я вышла замуж за нормального человека, ничего этого не случилось бы!»

Дед Геворг пропускает ее пчелиное жужжание мимо ушей. Высказывается, лишь дождавшись традиционного заключительного аккорда.

– На пятидесятилетие нашего брака схожу в управу и потребую за ущерб, причиненный долгими годами супружества, килограмм золота! – торжественно объявляет он.

– Изумрудами лучше возьми! – не сдается бабушка.

– Изумрудами ты возьмешь. В день моих похорон! – нагнетает дед.

– Тебя похоронишь! – сбавляет обороты бабо Софа, но следом, вспомнив очередной порочащий мужа факт, сразу же заводится по новой. – Да ты меня, бессовестный, несколько раз переживешь! И на этой бесстыжей Марине женишься! Я что, не вижу, как ты на нее заглядываешься?

– Это ко-огда я на нее за-аглядывался-то? – дед от изумления аж заикаться начинает.

– Да хоть сегодня! Кто ей калитку чинил? Битый час провозился.

– Я же с калиткой, а не с Мариной провозился!

– Геворг!

– Джан! Ревнуешь поди.

– Ревную, а как же! Много чести!

Раньше Левон, заслышав перепалку бабушки и деда, расстраивался, но потом перестал, потому что сообразил, что это глупая, но безвредная привычка. Бабо Софа, хоть и ела мужа поедом, но любила его (правда, весьма оригинально, сообразно поговорке «от любви до ненависти один шаг») и заботилась неустанно: внимательно следила, чтобы тот таблетки от сердца и давления принял, вовремя поел, не простыл, не переутомился. Дед огрызался и артачился, но уступал. Ну или притворялся, что уступал, особенно когда дело касалось лекарств. Левон часто застукивал его за тем, что из двух положенных таблеток он принимал только одну. Поймав деда в первый раз за подобным преступлением, он припер его к стенке и потребовал объяснений. Дед кхекнул, смущенно рассмеялся, потом промямлил, что от таблеток, которые лечат сердце, в желудке изжога, потому он вынужден принимать только те, что от давления.

– Я папе скажу, – пригрозил Левон.

– Ишь, вылупилось яйцо! – возмутился дед.

– И маме скажу! Или же обещай принимать таблетки. Обещаешь?

Дед ничего отвечать не стал, зато сгреб его в объятия и чмокнул в макушку. «Отлынивает», – вдыхая знакомый табачно-дымный аромат его кусачей бороды, подумал Левон, но выдавать деда родителям все-таки не стал – пожалел. Не хватало только, чтобы наравне с денно и ночью пилящей женой, сын со снохой тоже его пилили!

– Где этот Астцу зулумат?! – вызывает меж тем к совести предков бабушка Софа, цепляя убежавшие петли распоротых гулпа булавками. Позже она аккуратно поднимет их с помощью изогнутого коротконосого крючка до края вязки, соберет на спицы и примется довязывать.

Объяснение проступку Левона очень простое: у бабушки память до того прохудилась, что она постоянно забывает очередность кругов деревянной пирамидки Гево. Недавно связала для него свитер и, снова перепутав цвета, сделала горловину синей. Так Гево отказался надевать обновку, пока она не перевязала ее.

– Кто бы мне объяснил, что ему за разница, какого цвета горловина? – бухтела возмущенно бабушка, обращаясь в третьем лице к Гево. Тот, поглощенный сборкой пирамиды, рассеянно улыбнулся уголком губ. На тарелке с золотистой каемкой лежал полукруг недоеденного слоеного пирожного – вытекший из середины сливовый джем распустился по дну крохотными лепестками трилистника. Левон хотел смахнуть прилипшие к подбородку брата крупы сахарной помадки и даже руку протянул, но сразу же отдернул – больше всего на свете Гево не выносил прикосновений, а еще – когда его отвлекали от любимого занятия – собирания деревянной пирамидки.

С гулпа вышла та же история – бабушка снова все перепутала и вместо зеленого сделала верх красным. Ну, Левону и пришлось распускать неправильные полосы. Надо было, конечно, не своевольничать, а предупредить бабушку, но рука сама потянулась выдернуть четыре коротенькие спицы и отмотать шерстяную нить. Левон проделал это, завороченно наблюдая, как исчезает ряд за рядом мелкий бисер петель.

И теперь, пока разгневанная бабушка звывала к его совести, он коротал время в самом отдаленном конце сада, прячась под ежащейся от кусачего холода столетней елью.

– Четыре, – шептал он, разглядывая припорошенные скудным снегом пушистые лапы и прислушиваясь к убывающему звучанию зеленого. Оно стелилось мягким басом, тягучим и долгим, словно улиточный путь капли меда по стеклянному боку сосуда. Если называть цвета не задумываясь, а сквозь занятые чем-то посторонним мысли, то в голове Левона они превращаются в цифры и в музыку. Притом каждому цвету строго соответствует своя цифра и свой звук. Зеленый, к примеру, всегда оборачивается угловатой и сварливой – рука вперена в правый бок, острым локтем наружу – четверкой. И звучит низким, чуть дрожащим басом. Левон

раньше думал, что ничего необычного в том, что цвет воспринимается звуком и цифрой, нет. Но на деле оказалось, что таким странным восприятием обладает только он.

– Синестезия, – объявил невролог, к которому повела сына обеспокоенная мама, и поспешно добавил, видя ее расстроенное лицо: – Во-первых, в этом нет ничего смертельного, а во-вторых – мальчик очень скоро ее перерастет.

– Когда? – в голосе мамы появились напряженные нотки.

– Годам к шести.

– Так ведь ему уже семь!

– Значит – скоро.

И, выписав на всякий случай витамины, доктор попрощался с посетителями. Мама забрала у него листочек с рецептом, повертела в руках и со вздохом убрала в сумку. «Пошли», – шепнула она сыну, глядя куда-то вбок – она всегда отводила взгляд, когда сердилась на кого-либо. Сейчас она сердилась на доктора, который, по ее мнению, недостаточно ответственно отнесся к проблеме пациента и поспешил избавиться от него. Витамины еще бессмысленные выписал! Левон, в отличие от нее, уходил довольным: уколов не назначили, к зубному не отправили. Вот бы все доктора так лечили!

Выходя из кабинета, он посторонился, пропуская следующих посетителей – обширную тетечку в длинном цветастом платье и тоненькую смуглую девочку в красных ботиночках на полосатые колготки. Очередность полосок была не такая, как в пирамидке Гево, но тоже красивая: розовый, желтый, оранжевый и фиолетовый. Притом оранжевый был до того ярким, что заглушал остальные цвета, и нужно было всматриваться, чтобы их различить.

– Астхик², не отставай! – неприятно каркнула тетечка и поволокла девочку к столу, за которым, сложа руки перед собой, сидел доктор. Подол короткой юбки девочки сзади был задран, и мама, проходя мимо, незаметно подправила его. Последнее, что видел Левон сквозь закрывающуюся створку двери – недоумевающий взгляд медсестры, которым она смирла громкую тетечку, и худенькое, обтянутое шерстяным свитером плечо девочки. Склонив набок голову, она трогательно, совсем по-кошачьи потерлась плечом об ухо. Левон потом несколько раз повторял ее имя, принаравливаясь к колючим звукам. Имя девочки, вопреки другим знакомым именам, не пело и не складывалось в цифры. Оно звучало молчанием запертой в клетке птицы.

Зима кружила над миром, мороза окна каменных домов острым дыханием. Левон сидел под растущей на краю сада дряхлой елью, привалившись спиной к ее шероховатому стволу. В доме давно уже воцарилась тишина: Гево собирал свою пирамидку, Маргарита дежурила рядом в обнимку с книжкой, дед подкидывал дров в печь, мама, скорее всего, гладила – стираного белья собрался целый ворох, а папа сидел в своем компьютере. Бабушка же, остывая, довязывала ряд. Скоро она отложит гулпа, с демонстративным кряхтением поднимется с кресла и пойдет звать внука, которого в минуты расстройства, под молчаливое одобрение родных, называет не по имени, а исключительно «Астцу зулумат». То бишь «Божья кара».

Восемь: синий

– Зимой смеркается много раньше, чем успеваешь свыкнуться с напрасной мыслью, что еще один день, прокатившись круглым боком по мерзлому небосводу, пришел к своему концу, – протягивает задумчиво дед, разглядывая в окно стремительно темнеющий горизонт.

Обычно у деда незамысловатая деревенская речь, но в минуты тоски он изъясняется длинными, переполненными разноцветными словами фразами. Левон их с легкостью запоминает и потом, при удобном случае, когда никто не слышит и когда тому способствует настро-

² Звездочка (арм.).

ение, произносит вслух. Слова в дедовых фразах круглые и беззащитные, словно воздушные пузырьки в воде. Левон перекачивает их на языке так и эдак, пробует на вкус и звучание. Придышивается.

Дед болезненно воспринимает течение времени, ему все кажется, что оно стремительнее, чем должно быть на самом деле.

– Ведь не может быть такого, чтобы буквально недавно светилось утро, а спустя час нагрел закат! – возмущается он, вглядываясь в стремительно густеющую темь за окном. – Свет меркнет так, словно кто-то, чтобы сберечь керосин, убавляет огонь в мутной от дымка старой стеклянной лампе.

Бабушка, в отличие от мужа, относится к течению времени без особых возражений: день прошел – и слава богу, невелика потеря. Деду же обидно за каждый минувший час. Он прощается с ними, словно с безвременно почившими дорогими сердцу друзьями.

– Чувствуешь, как зима словно вода в песок утекает? – оторвавшись от вида за окном, обращается он к жене.

– Зато весна ближе! – отмахивается бабушка, орудуя ножом. Стружка картофеля змеится тоненькой длинной полоской – только бабушка умеет почистить клубень «в одно касание», не отрывая ножа и ни разу не оборвав ленточку кожуры.

Дед расстроено цокает языком, задирает в возмущенном жесте руку – указательный и большой пальцы растопырены, остальные собраны в кулак. Резко повертев в воздухе рукой, он взрывается:

– Женщина! Ну подумай своей головой! С таким раскладом не успеешь моргнуть – и весна промелькнет! Была – и, фьють, нет ее!

– Ну и пусть промелькнёт, скатертью дорога! – пожимает плечом бабушка. Кинув картофелину в миску с холодной водой, она придирчиво оглядывает очищенные клубни и, сделав в уме какие-то свои расчеты, удовлетворенно кивает – достаточно.

Дед бурчит недовольное, Левон различает «носовой волос»³ и «приземленная женщина», боязливо косится на бабушку – если она услышала – не миновать скандала. Но бабушка роется в посудном ларе – выбирает подходящую сковороду для жаркого. «Фьють-фьють-фьють», – повторяет она, заглядывая под тяжеленную крышку чугунного сотейника.

Во время готовки Левон предпочитает ошиваться где-нибудь в другом, по возможности максимально удаленном от кухни месте – уж очень бабо Софа не любит, когда «говорят под руку».

– Не отвлекайте меня от дела! – сердится она, нарочито громко грохоча кухонной утварью.

Однако Гево приспичило собирать пирамидку именно на кухне, а черед присматривать за ним сегодня за Левоном. В выходные заботу о старшем брате поручают младшим детям. Вот они и сидят с ним по очереди. Возни с Гево не так чтобы много – держи его в поле зрения и все, но для Левона она ужасно утомительна. Утомляет не то, что нужно присматривать за братом, а необходимость неотступно находиться рядом. Руки у Гево неловкие, слабые и мало-подвижные пальцы с большим трудом удерживают кольца пирамидки, а те выскальзывают и откатываются в сторону. И тут главное вовремя их вернуть, иначе добром это не кончится. Выронив кольцо и моментально отчаявшись так, словно все в мире умерли и оставили его в одиночестве, Гево пускается в плач. Голос у него негромкий, с рвущими душу перекатами, он выдает их на выдохе, когда воздух в легких почти на исходе, тянет до изнеможения, пока не начинает задыхаться и захлебываться. Плач идет по нарастающей: сначала робкое хныканье, прерывающееся обиженным кряхтением, потом безутешные рыдания, переходящие в рев. До рева дело доводить нельзя, иначе следом начинается рвота, а далее температура Гево подни-

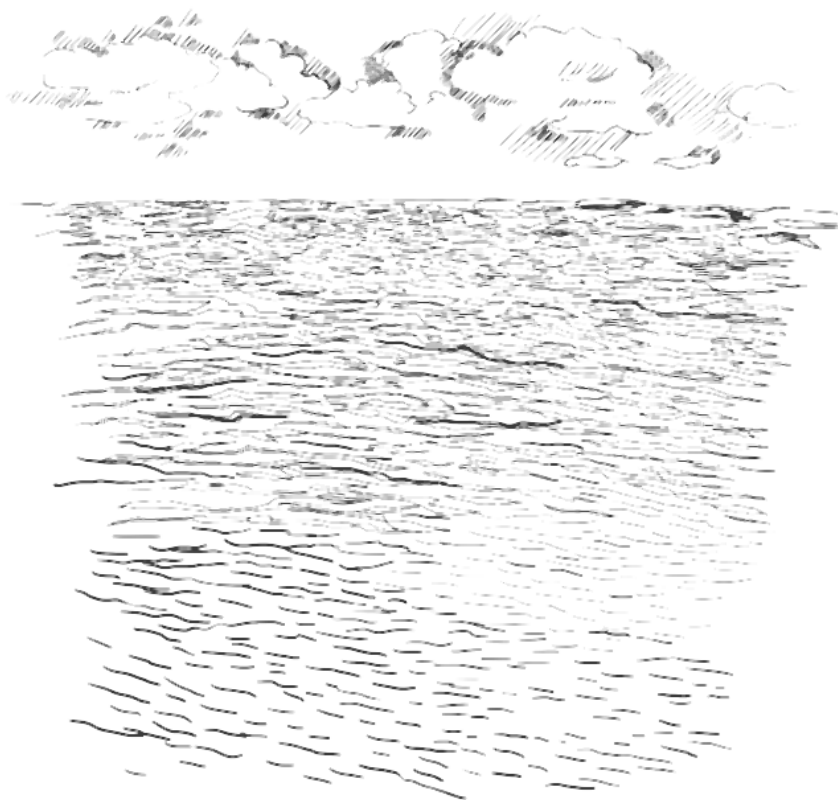
³ Так ругают назойливых людей.

мается до заоблачных высот и держится так по два-три дня. Маргарита справляется со своими обязанностями без особого труда, она любит чтение, так что устраивается рядом с книжкой, одним глазом приглядывает за братом, другим читает. Для Левона забота о Гево превращается в тихую пытку – у него большие проблемы с усидчивостью. Уроки, например, он делает, измеряя комнату шагами. Читает так же. Почерк в его тетрадах разный, все зависит от того, в какой позе он писал. Если строчка выведена с наклоном, значит, Левон сидел за письменным столом (редчайший случай). Если буквы выстроились в ряд, словно солдаты в шеренге, значит, он выводил их стоя, склонившись над тетрадью. Если рядовые в шеренге торчат как попало, вкривь и вкось, словно придавленные шквальным ветром, значит, он мелко подпрыгивал или выкидывал разные коленца. О таких неусидчивых людях говорят: «У него под хвостом муравей поселился». Судя по почерку Левона, под хвостом у него поселился целый муравейник. И очень может даже быть, что не один! Так что, пока Гево собирает свою пирамидку, его младший брат носится по комнате кругами, то играя сам с собой в прятки, то кидая дротики, то изображая охоту в саванне, показывая сначала злобного охотника, а потом пронзенного метким выстрелом льва, который долго катится по полу, душераздирающе рыча, а потом благополучно выпускает дух, картинно закатив глаза и свесив набок язык.

Дважды, не успев вовремя подать откатившееся кольцо брату, Левон доводил его до приступа. Снедаемый чувством вины, помогал потом с ухаживаниями – то чаю поднесет, то в аптеку сбегает, то уксус из погреба притащит и терпеливо ждет, пока мама обтирает ступни и ладони Гево. А потом несет бутылку обратно, обзывая себя болваном.

В высокой температуре лицо Гево делается совсем детским: огромные распахнутые глаза, загнутые, в капельках слез, ресницы, румянец на щеках, кудрявящиеся от пота волосы. К последнему приступу они прилично отросли, мама упрямо отводила их с его лба, чтобы было не так жарко, а потом вообще заколола красной заколкой Маргариты. И Гево моментально превратился в девочку, лежал, сложив на худой груди прозрачные руки, мелко дышал и улыбался – тускло и беспомощно, мама обмазывала его воспаленные от жара губы детским кремом, и выражение лица у нее было такое, словно она сейчас расплачется, но она не плакала – она никогда не плачет, потому что считает, что это делает ее слабой. Левону очень грустно наблюдать ее нарочито каменное лицо, ведь он совершенно точно знает, что где-то там, в груди, у мамы плещется море слез, просится наружу, бьется холодными волнами о берега ее сердца и делает ему больно. Море синее, цвета лепестков горной лилии. Синее море волнуется раз, волнуется два, складывает лепестки-волны в полукруги, полукруги – в круги, круги – в восьмерки, поставленные на попа знаки бесконечности.

Иногда Левон путает слова, особенно когда говорит о чувствах. Сердитый человек, если не включать внимание и не контролировать речь, может нечаянно обернуться красным. Старый – белым. Грустный – синим. Порой (и даже очень часто) дело доходит до курьеза. Однажды Левон чуть не стал причиной сердечного приступа бабушки, когда на ее ворчливый вопрос «куда подевался твой дед» ответил, подразумевая нерадостное его настроение, «в саду лежит, синий». Дед действительно лежал в саду, под елью, сложив на груди руки и раскинув ноги, – и безудержно грустил. Еще бы не грустить, когда Генрих Мхитарян уходит из любимого футбольного клуба «Боруссия»!



– Болей теперь за него отдельно, а за «Боруссию» отдельно! – бухтел дед, демонстративно игнорируя комарье, назойливо налетывающее над ним круги. Бабушку тогда отпаивали успокоительными каплями, а за Левона пришлось держать ответ всем восходящим коленам рода Анхатанц. Больше всех, конечно, досталось Безумному Мамикону, но за него Левон не беспокоился, смысл беспокоиться за человека, который давно умер! А вот за деда было обидно, потому что он живой и вообще ни при чем! Мало ему было в тот день Генриха Мхитаряна, уходящего из любимой «Боруссии» во вражеский «Манчестер Юнайтед», так еще и за неосторожное высказывание внука пришлось отдуваться!

В другой раз, отвечая на вопрос отца о времени, Левон выпалил без запинки – половина коричневого! Отсмеявшись, папа вытащил лист бумаги. Сетуя, что не сделал этого раньше, он составил под диктовку сына таблицу-напоминалку для всей семьи и повесил ее на самом видном месте – над обеденным столом. Выглядела таблица так:

- 1 – белый
- 2 – черный
- 3 – желтый
- 4 – зеленый
- 5 – красный
- 6 – коричневый
- 7 – (нет цвета)
- 8 – синий
- 9 – фиолетовый
- 10 – оранжевый

На вопрос – «почему у семерки нет цвета» – Левон беспечно пожал плечом. Нет и никогда не было.

– Надо же, – вздернул брови папа. – Ведь семерка – символ счастья. Она, по идее, не может быть бесцветной.

Левон на секунду задумался, потом махнул рукой – не-а, никакого отношения к цифрам счастье не имеет. Оно вообще ни к чему не имеет отношения. Как и любовь, например. Или ненависть. Они существуют отдельно от всего остального.

– Совсем отдельно? – уточнил папа.

– Совсем.

– То есть любовь, счастье и ненависть отдельно, а мы – отдельно?

Левон еще немного поразмыслил.

– Они просто от нас не зависят, – неуверенно ответил он.

Папа помолчал немного, пощелкал пальцами, потом примирительно улыбнулся.

– Ну и ладно. Не будем усложнять там, где ничего не понимаем!

– Не будем, – с облегчением согласился Левон. Говорить о вещах, о которых он сам не очень понимал, он не любил.

– Отстригу, как температура спадет, – обещала в тот день мама, закалывая влажные локоны Гево заколкой Маргариты. Расстегнутый корсет лежал на краю кровати, растопырившись ремнями, словно перевернутый на спину речной рак клешнями, мама, в спешке раздевая Гево, забыла его убрать. Левон повесил корсет на спинку стула, бережно разгладил разноцветные ремни и расправил застёжки-липучки. Последний год Гево очень быстро рос, позвоночник не успевал за телом, от этого он стал сутулиться, крениться набок, подволакивать при ходьбе ногу и часто спотыкаться. Кожа на пояснице и на плечах, не поспевая за ростом, покрывалась розоватыми отметинами растяжек, которые спустя время побелели, но не исчезли. Доктор прописал специальный медицинский массаж и обязал носить фиксирующий спину корсет. С массажем, понятное дело, ничего не вышло, Гево не любил прикосновений и срывался в плач, если кто-нибудь, кроме мамы, до него дотрагивался. Да и маме позволена была самая малость: помочь помыться, одеться, накормить... Так что от массажа пришлось отказаться. С корсетом же пришлось идти на хитрость: он был телесного, почти незаметного цвета, но Гево все равно не дал его на себя надеть. Тогда Левон предложил покрасить его в цвета игрушечной пирамидки. Мама раздобыла специальные краски для ткани, тщательно прокрасила корсет, долго сушила на открытой веранде, чтоб хорошенько просох. И свершилось чудо – Гево не только позволил его на себя надеть, но даже не возмутился, когда на спине туго затягивали ремни. Бабо Софа в тот день на радостях испекла рождественскую гату – с начинкой на топленом масле, сахаре и жареном грецком орехе. Пока гата подрумянивалась в духовке, бабушка, утомленная готовкой, прилегла отдохнуть и уснула, на свою беду – с открытым ртом. Ну, дед и не преминул положить туда сигарету, чем чуть не сорвал праздничный ужин. Если бы не вовремя подоспевший папа, бабушка, наверное, заклевала бы его до смерти. А так обошлось привычным семейным скандалом.

Два: черный

Девочка с молчащим именем сидела, подперев подбородок кулачком, и вертела в руках ручку. Когда запыхавшийся Левон влетел в класс, она посмотрела в его сторону – мельком, незаинтересованно, и сразу же отвела взгляд. Дети, обрадованные возможностью оторваться от учебников, весело загалдели, приветствуя опоздавшего соученика. Учительница, тикин Сара, зашикала, призывая их к порядку, махнула Левону рукой – садись. Водрузив на место пустую

мусорную корзину, которую сшиб дверью, Левон в своей неизменной манере – чуть подпрыгивая и дергая острыми локтями – направился к парте. Замедлился лишь на полдороге, когда с удивлением обнаружил, что она не пустая. В свое время тикин Сара настояла, чтобы он сидел за партой один (просто потому, что никто по соседству с ним бы не выжил). Ко второму классу, вертлявый и неугомонный, он все-таки научился худо-бедно, но в течение тех сорока минут, что длился урок, существовать в пределах своей парты. Изнывая от бездействия, скользил по скамье, от одного ее края до другого и обратно, доводя до зеркального блеска штаны, подбирал под себя ноги, с грохотом роняя на пол ботинки, иногда распластывался грудью на столе, свешивая за его края кисти – и болтал ими в воздухе.

– Еще один год, и ты превратишься в примерного ученика, – не очень убежденно, но неунывно повторяла тикин Сара, оборачиваясь от доски и обнаруживая торчащую из-за учебника макушку Левона: улегшись на бок и подперев голову ладонью, он читал, беззвучно шевеля губами и водя пальцем по строчкам.

Левон предпочитал напрасными надеждами учительницу не тешить, потому обещаний никаких не давал. В душе он очень сомневался, что через год или даже через пять превратится в прилежного ученика. Тикин Сара, похоже, тоже на это не надеялась, но мантру про «еще один год» неустанно повторяла. Видно, таким образом она успокаивала свои вздрюченные нелегкой преподавательской работой нервы.

Громко прошаркав путь от двери до парты, Левон с грохотом опустил на нее рюкзак. Класс с готовностью загоготал, тикин Сара привычно зашикала на всех и привычно же поинтересовалась, не притащил ли он с собой камней. Девочка с молчащим именем, единственная, кто не рассмеялся, подвинулась, высвобождая место. Левон плюхнулся рядом, больно задев ее локтем, но извиняться не стал. Вытащил учебник математики, затолкал под стол рюкзак.

– Я помню, тебя Астхик зовут, – дождавшись, когда учительница отвернется к доске, шепнул он примирительно.

– Знаю, – отчеканила девочка и отвернулась.

Левона ее равнодушие почему-то уязвило. Он собирался было выпалить в ответ какую-нибудь колкость, но сдержался – много чести. Демонстративно сел так, чтоб быть к соседке спиной. Похоже, девочку это не задело. Тогда он развалился на скамье, занимая ее чуть ли не целиком. Астхик безропотно отодвинулась на самый край и, подтянув подол юбки, заправила его под себя. Он громко почесал коленку, поддел ботинком ножку стола и пошатал его. Астхик даже бровью не повела. Класс корпел над уравнением. Девочка тоже писала, с невозмутимым видом отрывая ручку от листа каждый раз, когда Левон двигал партой, и возвращаясь к работе, когда он успокаивался. Закончив писать, она закрыла тетрадь, убрала ручку, бесшумно затянув молнию пенала. Подсунула под себя ладони, ссутулилась. Острые лопатки трогательно выступили на спине. Уравнение Левон решил за то время, пока тикин Сара, обходя класс, забирала тетрадки. Пропустив промежуточные вычисления и выведя сразу ответ, он с победным видом уставился на свою соседку: заметила ли она, какой он молодец? Она, отвернув подол юбки, разглядывала аккуратный, едва заметный шов, и, казалось, не существовало в мире ничего, что могло оторвать ее от этого занятия. Рассердившись, Левон решил идти напролом. Ткнув ее указательным пальцем в ребро, он хвастливо поинтересовался:

– Видела, как я быстро решил уравнение?

– Ты дурак? – беззлобно спросила она, потирая бок.

– Нет.

– Тогда почему так себя ведешь?

Левон пожал плечом. По правде говоря, он сам не очень понимал причину своего идиотского поведения. «Может, дрозд меня в темя клюнул?» – пробормотал он скорее себе, чем девочке.

– Дрозд? – повторила она.

– Ну... Моя бабушка всегда так говорит, когда я дурак дураком.

Девочка фыркнула. Намотала привычным жестом косичку на палец. Подергала ее, потом со вздохом перекинула за плечо. Достала из кармана две мятные карамельки, одну, не глядя, протянула ему. Стараясь не шуршать фантиками, они развернули конфеты.

– Меня Левонем зовут, – прошепелявил он, затапливая за щеку остро отдающую хвоей карамельку. Подсознание, мгновенно объединив вкус хвои с елью, раскрасило восприятие в цвет. «Зеленый», – привычно подумал Левон. В голове мгновенно зазвучала тягучая, низкооктавная fuga Баха, которую вот уже который день вымучивала на пианино Маргарита.

Девочка перекатила во рту карамельку, кивнула:

– Знаю, что Левонем зовут.

– Откуда?

– Учительница сказала, что мне нужно сесть за парту Левона. И что ты, скорее всего, опоздаешь, потому что по дороге в школу по привычке будешь ворон считать. И что, как обычно, влетишь в класс вперед головой и снесешь мусорную корзину. Все так и случилось.

Левон выслушал ее с таким лучистым видом, будто его хвалили за примерное поведение. Когда учительница, убрав в шкаф стопку собранных тетрадей, принялась раздавать другую, с проверенным домашним заданием, он, улучив секунду, наклонился к уху девочки и зашептал:

– Кто придумал тебе такое странное имя?

– Почему странное? – обиделась она.

Левон хотел рассказать про немое звучание ее имени, но махнул рукой – потом. Она молчала оставшуюся часть урока, ответила, когда раздался звонок на перемену:

– Папа придумал.

Левон, подзабывший о своем вопросе, удивленно переспросил – какой папа?

– Папа меня назвал Астхик, – терпеливо пояснила она. – Он считал, что я похожа на звездочку.



Левон озадаченно уставился на нее. Девочка походила не на звездочку, а скорее на беззвездную ночь: гладкие, заплетенные в тугую косичку черные волосы, нежно-смуглая кожа, огромные и до того темные, что зрачок от радужки не отличишь, глаза. Уже потом, узнав ее поближе, он разгадает их удивительную способность – матово-сумеречные, непроницаемые, они никогда не отражали дневного света, а совсем наоборот: поглощали его с такой ненасытностью, будто от этого зависела жизнь девочки.

* * *

Беспардонная тетечка оказалась не мамой, а родственницей Астхик.

– Это старшая сестра папы, – доверительным шепотом сообщила девочка, когда они с Левонем поднимались по широкой лестнице низкорослого каменного дома. Фасад дома оплетали голые ветви винограда, в тех местах, где подтаял снег, крыша поблескивала влажной чешуей черепицы. Двор к полудню был совсем безлюдным. Единственный подъезд закрывался старой дубовой дверью, украшенную с обеих сторон шишковатой, чуть запыленной резьбой. Астхик провела по ней ладошкой, ощущая живое прикосновение дерева, и холодное, отстраненное, – тронутого ржавчиной железа. Поднесла пальцы к лицу, принялась. Левон хотел было тоже потрогать дверь, но не смог – руки оттягивал кожаный портфель, который он нес, прижимая к груди. Оторванная ручка портфеля беспомощно болталась, растопырившись швами и треснувшим креплением. Левон было расстроился, но Астхик махнула рукой – этому портфелю знаешь сколько лет? С ним еще тетушка в институт ходила!

Его подмывало сказать, что портфель действительно выглядит рухлядью, но он не стал – вдруг она снова обидится. Он предложил донести его, она сначала поинтересовалась, где он живет (Речной квартал, дом сразу за мостом), и, удостоверившись, что им по пути, не стала возражать.

– А давай подниматься через ступеньку! – предложил Левон. Он повел плечом, чтобы холщовая лямка собственного рюкзака встала на место. Рюкзак моментально отозвался грохотом. Астхик вздернула брови:

– Что у тебя там?

– Галка.

– Зачем?

Он сделал вид, что не расслышал вопроса. Крепче прижал к груди портфель, вытянул шею, чтобы не оступиться, и пошел вверх по ступеням, переступая через одну. Девочка последовала его примеру. В отличие от верткого длинноногого Левона, ей приходилось держаться одной рукой за перила лестницы, а другой упираться то в одно, то в другое колено, чтобы помочь себе оттолкнуться от нижней ступеньки.

Не получив ответа на свой вопрос, она, совсем не обидевшись, продолжила с прерванного места свой рассказ:

– Просто мама в тот день не смогла отпроситься с работы, потому меня к врачу повела тетушка. Она не замужем и почти никогда не бывает в настроении. Сейчас мы живем у бабушки: я, мама, тетушка. Хотя тетушка с ней и так жила. Раньше у нас был свой дом. Там у меня была большая комната, и еще у нас был свой сад. Любишь недозрелые яблоки?

Рот Левона моментально наполнился слюной.

– Еще бы!

– И я люблю. Мама ругалась, что я не даю яблокам созреть.

Она вздохнула.

– А теперь у нас нет сада.

Левон спиной ощутил, как у нее изменилось настроение: оно моментально окрасило девочку в черный, затемнив и без того темные ее глаза.

– Два, – прошептал он, но оборачиваться не стал: догадывался, что ей не понравится, если он увидит ее расстроенное лицо.

– Что?

– Не расстраивайся. Можешь приходить в гости, у нас огромный сад, и яблонь там много, штук пять-шесть.

– Хорошо, – с легкостью согласилась она.

Квартира находилась на последнем, третьем этаже. Окрашенная глянцевым лаком черная дверь казалась неприступной. Ручка и глазок отливали холодным серебристым.

Астхик забрала у него портфель.

– Спасибо. А теперь иди. Тетушке не понравится, что я без предупреждения привела гостя.

Левон поскакал по ступенькам вниз. Она постояла, прислушиваясь к утихающему звуку его шагов. Дождавшись, когда входная дверь внизу захлопнется, привстала на цыпочки и нажала на кнопку звонка.

– Дзыннь-донн. Дзыннь-донн, – резко зазвенел металлический колокольчик, разгоняя душную тишину.

* * *

Передав новым хозяевам все связки ключей, мама, не оборачиваясь, вышла за ворота. Астхик окинула прощальным взглядом высокий каменный фасад, обнесенную деревянными перилами веранду, козырек крыши, под которым, плотно прижавшись, ютились три ласточкиных гнезда.

– Не снесите их, пожалуйста, – попросила она новую хозяйку дома: высокую, грузную женщину с густыми, сросшимися на переносице бровями. Та непонимающе уставилась на нее, потом, проследив за взглядом, обернулась, разглядела гнезда под карнизом.

– Не буду, – заверила с такой поспешностью, что не осталось сомнений – первым делом, вооружившись шваброй, она их и разрушит.

Астхик погладила железные ворота ладошкой, поплелась к микроавтобусу, набитому доверху их домашним скарбом. Садясь в машину, прижала руку к лицу, вдохнула холодный запах металла.

Ехать было недолго, но оттого, что мама плакала, поездка показалась бесконечной. Астхик попыток утешить ее не делала: она знала, что мама выплакивает утрату дома, каждый угол которого ощущала и знала, словно себя. Среди вещей, которые они взяли, была совсем бесполезная, но дорогая ее сердцу деревянная люлька. На протяжении многих лет в ней спали все младенцы ее семьи. Когда люлька стала совсем старенькой, ее убрали на чердак и, кажется, совсем о ней забыли. Но мама вспомнила о ней в первую очередь, когда стала выбирать, что с собой забирать.

Иногда она прижимала к себе Астхик и целовала ее в лоб. Губы ее были холодные, почти безжизненные. С того дня, как папа попал в тюрьму, она будто бы умерла. Папа уснул за рулем, машину вынесло на встречную полосу, она протаранила другой автомобиль. Водитель спасся, отделавшись переломом руки, а жена его погибла.

Решение переехать к бабушке с тетушкой далось им с трудом, но так было правильно – вместе легче справиться с ожиданием. Дом пришлось продавать, чтобы было на что жить. «Потом, когда папа вернется, мы снимем свой угол и начнем все с нуля», – обещала мама. Астхик эта идея понравилась: она мысленно поместила свою семью в центре белого листа, обвела кружком и решила, что так она будет в безопасности. Начинать с нуля – самый верный выход, заключила она и терпеливо принялась ждать того дня, когда папин срок закончится и он вернется домой.

Мама сразу же устроилась в городскую управу секретарем, с ее опытом и знанием языков это не составило большого труда. Работала пять дней в неделю, с девяти до шести. Зарплата была небольшая, но она планировала набрать учеников и заниматься дополнительно репетиторством – спрос на английский есть всегда. Деньги, вырученные за дом, она положила в банк и тратила с умом – на самое необходимое. С тетушкой, работающей бухгалтером, они договорились делить все расходы пополам.

Астхик потихоньку привыкала к новой жизни. В школу, правда, пошла не сразу – подхватила вирус и пролежала в постели несколько дней. Пришлось потом идти в поликлинику, чтобы получить справку о выздоровлении. Столкнувшись с Левоном в кабинете доктора, она сразу же его запомнила. Это не требовало особых усилий: рыжий, буйно-курчавый, с прозрачными глазами и усыпанной мелкими веснушками переносицей, он моментально притягивал к себе внимание. Но дело было не только в яркой внешности: в открытом, солнечном выражении его лица было такое, что надолго потом не отпускало. Будто счастливое ожидание праздника. Будто воздушное облачко сахарной ваты, которую продавец тщательно наматывал на палочку, подцепив паутинную нить с края вращающейся чаши, а потом протягивал тебе: «На!»

Три: желтый

Пиджак, казалось, жал везде: в плечах, в подмышках, в рукавах, в карманах и даже в голове. Тщательно отглаженный ворот рубашки обвился вокруг шеи удавкой. Сияние натертых до блеска ботинок можно было притушить единственно возможным способом – задвинув их в самый темный угол обувного шкафчика и накидав сверху целый ворох тряпья. Как вариант можно было облить их бензином и сжечь на заднем дворе, в не занесенном снегом закуте между каменной стеной и жестяным боком чулана. Левон даже на секунду затуманился взором, представляя, как съезживаются и лопаются под натиском огня глянцевая кожа и рифленая подошва ботинок, как, чадно корчась и ядовито шипя, сворачиваются в змейки ненавистные шнурки, завязывание которых всегда отнимало уйму времени. Он с сожалением отогнал прекрасное видение, вообразив шум, который поднимет бабо Софа. Шум, кстати, получится знатным, потому что ботинки выбирала и покупала она. На подарки для родных и близких бабушка копила, ежемесячно откладывая часть своей пенсии. Оставшуюся часть, присовокупив к пенсии мужа, она, невзирая на возмущенные протесты сына, требующего, чтобы родители оставляли деньги себе, пускала на мелкие насущные нужды: лекарства, продукты, всякую бытовую химию. Двух стариковских пенсий при тщательной экономии хватало на неделю, иногда, если повезет – дней на десять.

Вполне естественно, что при таком раскладе бабушка вряд ли бы обрадовалась, если бы внук спалил дорожные кожаные ботинки, которые она, уболтав до мозгового паралича продавца, с дополнительной десятипроцентной скидкой (тридцатипроцентная уже наличествовала!) выторговала на распродаже в обувной лавке. Левон невзлюбил эти ботинки с того дня, как получил на семилетие, и всякий раз кочевряжился, надевая их. Слишком уж они были расфуфыренные, что ли: ни попрыгать, ни на забор вскарабкаться. Совсем другое дело кроссовки на липучках, в которых носишься целый день, то заскакивая в кусты чертополоха, то взбираясь на ореховое дерево, а то промахиваясь и уходя в воду по колено, перепрыгивая с одного речного валуна на другой. Будь на то его воля, он бы круглый год в кроссовках бегал, но кто же ему такое позволит?

К счастью, ботинки были велики на целый размер – бабушка по своему обыкновению брала все на вырост. Потому надевались они в исключительных случаях, когда необходимо было выглядеть по-человечески: в гости, на школьные праздники и какие-нибудь другие торжественные мероприятия. Сегодня как раз выпал такой случай: семья была приглашена на смотрины племянницы, которой исполнилось сорок дней с рождения. Настала пора знакомить ее со всей многочисленной родней.

Утро прошло в лихорадочных приготовлениях. Дед, основательно повоевав с женой, вынужден был выкинуть белый флаг и все-таки повязать галстук. Маргарита сначала вообще отказывалась куда-либо идти, потому что, проснувшись, обнаружила у себя на лбу внушительных размеров прыщ. К счастью, мама мигом решила эту проблему, позволив замазать его

тональным кремом. Обрадованная Маргарита хотела выторговать себе еще и помаду, но потерпела поражение.

- Половина нашего класса пользуется косметикой, а мне, значит, нельзя! – канючила она.
- Не доросла еще, – отмахивалась мама, надевая на Геву корсет.
- Капелюшечку! Один-преодин разочек!
- Только через твой труп!

Маргарита, фыркнув, покинула комнату, в знак протеста громко шаркая тапками. Обычно мама раздражалась на это шарканье, но сегодня даже бровью не повела, чем еще больше рассердила дочь. Чтоб сорвать злость, она, проходя мимо брата, отвесила ему легкий, но от этого не менее обидный подзатыльник. Левон хотел было догнать ее и наподдать, но передумал – успеется. Стиснутый пиджаком и удавкой ворота рубашки, в носках и озаряющих весь дом невыносимым лаковым сиянием ботинках, он стоял перед зеркалом – нахохленный и недовольный, и, дергая шеей, демонстративно страдал.

– Еще немного – и голова отвалится, – бесстрастным голосом, от которого сводило скулы, прокомментировала бабушка, не поднимая от шитья головы. Она штопала треснувшие в пикантном месте брюки, которые Левон нечаянно порвал, пытаясь сесть на шпагат.

- Очень надо!
- Тебе не надо – а нам тем более. На еде хоть сэкономим!
- Это почему?

– Без головы есть некуда будет! – Бабушка аккуратно, у самого узелка, откусила нитку и, отряхнув брюки, протянула внуку. – Надевай!

Левон скинул ботинки. Принялся одеваться, возмущенно бубня под нос.

– Не сдерживайся, выскажись на всю катушку, – подзадорила бабо Софа. Левон боковым зрением видел, как она, не поднимаясь со своего места, дотянулась до комода и, вытащив ящичек, убрала туда шкатулочку со швейными принадлежностями. Царапнув слух лязгом, ящичек задвинулся обратно и, издав самодовольный скрип, встал на место.

- Грю – теперь я точно знаю, зачем взрослые нас рожают, – пробубнил Левон.
- И зачем?
- Чтоб издеваться над нами! Ну и мусор заставлять выносить!

Бабушка с невозмутимым видом поднялась со стула, разгладила рукава кофты, которые всегда закатывала, когда работала. С кряхтеньем нагнулась, чтобы оправить подол длинной шерстяной юбки.

– Геворг! А Геворг! – приведя в порядок свою одежду, наконец позвала она.

– Чего тебе? – заглянул в комнату дед. Левон, поймав в зеркале его отражение, не смог удержать вздоха сострадания: дед причесал свою седую бороду, отчего она сейчас стояла колом, и сделал дурацкий косой пробор в шевелюре. Обычно он выглядел так, словно его извлекли из старого сундука и, отряхнув от налипших лавандовых лепестков, которыми обильно обкладывали от моли одежду, накинули на забор – проветриться на солнечном ветру. Сейчас же он смотрелся нелепым манекеном, которого хвастливо выставили в витрине магазина – на всеобщее обозрение. Глаза деда от тщания вылезли из орбит и смотрели в разные стороны, над узлом галстука торчал акульим плавником кадык, а стрелочки его брюк нужно было обходить за километр, чтоб, бездумно напоровшись, не порезаться.

– Обведи в календаре этот день красным фломастером, – окинув одобрительным взглядом расфуфыренного мужа, посоветовала бабушка.

– Почему?

– Потому, что сообразительностью наш внук, слава богу, не в тебя пошел, а совсем наоборот! – И она ткнула себя победно пальцем в грудь, чтобы ни у кого не оставалось сомнений, в кого же пошел ее внук. Затем, подвинув опешившего мужа, бабушка торжествующе выплыла из комнаты.

* * *

Левон было расстроился, заметив среди гостей Астхик – почему-то было обидно, что она увидит его в дурацком костюме и ореоле сияния начищенных ботинок, но сразу же утешился, убедившись, что над ней поиздевались не меньше, чем над ним. Волосы девочки, расчесанные на ровный пробор, были заплетены в две косички, концы которых объединили, обвязав шелковым бантом. Подол пышного платья торчал чуть ли не пачкой балерины. Нарядные пряжки туфель переливались, словно рождественские гирлянды. Астхик, смущаясь и не решаясь подойти, издали помахала ему ладошкой. Левон терпеливо переждал, пока родственники по очереди потреплют его по волосам, восторгаясь тому, как он вытянулся и как безукоризненно одет. Потом он недолго тупил в крохотное личико племянницы, пытаясь понять, что к ней испытывает. Убедившись, что совсем ничего, и совершенно по тому поводу не расстроившись, он немного побесился, наматывая хаотичные зигзаги вокруг празднично накрытого стола. «Шашлык хоть будет?» – с беспокойством отметив обилие овощных салатов, припер он к стенке двоюродного дядю.

– Обижаешь! И шашлык будет, и кебабы, и твой любимый печеный в золе картофель.

– Тогда ладно, – утешился Левон и, решив, что все требования политеса соблюдены, подошел к Астхик.

– Привет. Получается, мы родственники.

Она энергично замотала головой:

– Нет-нет. Твой двоюродный дядя и мой папа учились в одном классе. Нас с мамой пригласили, чтобы познакомить со всеми. Ну и чтобы поддержать.

О беде, приключившейся с семьей Астхик, знала уже вся школа. По этому случаю Левон даже успел подражаться с двумя одноклассниками, которые дразнили девочку. Из неравного боя он вышел почти победителем, если не считать порванного ворота свитера и потери молочного зуба, который и так держался на честном слове. Когда тикин Сара повела драчунов к директору, никто из них не открыл истинной причины драки. «Ластик не поделили», – виновато шмыгнув, буркнул один из них. Директор нацепил очки и целую вечность, пристально, словно в микроскоп, изучал каждого виновника торжества. Под его взглядом боевая троица ежилась и подбирала ноги.

Наконец, сделав какие-то свои неутешительные выводы, директор вынес вердикт:

– Все с вами ясно. Чтоб остались после уроков и сделали уборку в классе.

– Но сегодня не наша очередь!

– Ваша. А в следующий раз, если снова подеретесь, убираться будете неделю. Ясно? Ясно?! Не слышу ответа!

– Яааасно.

– Свободны.

Уборку произвели в полнейшей тишине. Левон протер влажной губкой классную доску и вынес мусор, один из мальчиков поставил на столы стулья, другой подмел пол. Потом они, чередуясь, вымыли его, елозя по паркету неповоротливой шваброй.

– Бывайте, – махнул рукой на прощание Левон, когда они вышли на порог школы.

– Мой дед тоже так прощается, – с готовностью откликнулся второй драчун.

– И мой, – пискнул третий.

И хоть Левон знал, что дед третьего давно умер, но говорить об этом не стал. Жалко, что ли?

Мама Астхик оказалась миловидной, невысокого роста женщиной с короткими, стриженными под мальчика, каштановыми волосами и зелеными глазами. Возле левого уголка рта у нее была круглая родинка – небольшая и уютная, хотелось потрогать ее, чтобы убедиться,

что она держится крепко и в случае чего не отвалится. Мама Астхик поблагодарила Левона за то, что он защитил ее дочь, и пожала ему руку, чем ввергла его в замешательство – это было первое рукопожатие, приключившееся в его жизни. Левон надулся, словно индюк, и самодовольно растопырился локтями.

– Смотри не тресни от важности, – шепнула ему на ухо Маргарита. Он хотел накинуться на нее с кулаками, но не стал этого делать, потому что с удовлетворением констатировал, что старательно нанесенный тональный крем сошел, и на лбу сестры снова багровеет злобный прыщ. «Так тебе и надо», – подумал он и ускакал во двор – контролировать приготовление шашлыка.

* * *

Гево захныкал – жалобно кривя рот.

– Что такое? – встрепнулся папа. За компьютером его почти не было видно – только макушка торчала. Папа работал инженером-технологом в местном отделении коньячного завода и постоянно чему-то учился. Чаще удаленно, но иногда уезжал на неделю-вторую в Ереван. Два раза даже во Франции был, в головном офисе компании, которая в свое время купила армянский коньячный завод.

– Да все в порядке, – откликнулся Левон, положив рядом с братом откатившийся круг пирамидки. Но Гево продолжал хныкать, а потом заскулил – горько, с обидой.

Левон проверил, на месте ли все кольца пирамидки, собрал ее и, водрузив сверху темно-зеленый конус, продемонстрировал брату – вот, смотри, все в порядке!

Гево забрал пирамидку, но хныкать не перестал.

– Убери гальку, она его нервирует, – снова вынырнул из-за компьютера папа.

– Тут всего два зеленых камушка!

– Все равно убери.

Левон с сожалением засунул в карман гальку. Он собирал ее на берегу речки несколько дней, выходя из дому за полчаса до школьных занятий. Подбирал тщательно, камешек к камешку: чтоб были гладкие, одинакового размера, желательно – светлых расцветок. Далее он вымыл гальку щеткой, очищая от налипшего песка и грязи. Разложил сушиться на подоконнике, чем расстроил бабушку, буквально неделю назад все эти подоконники тщательно вымывшую. Когда галька высохла, Левон выпросил одноразовые перчатки и раскрасил ее акриловыми красками, сначала с одной стороны, потом, дав обсохнуть – с другой. Затем он пересыпал разноцветные камешки в ведерко из-под жареных куриных крылышек, которое берег потому, что считал, что бородатый дед, изображенный на нем, очень похож на его дедушку. И задвинул ведерко под кровать – до лучших времен. Спустя пятнадцать минут, решив, что лучшие времена настали, он принялся приучать старшего брата к новой игре. Но, чтобы не пугать его, начал с малого – продемонстрировал ему два зеленых камушка. При виде этих камушков Гево оцепенел, какое-то время молчал, беззвучно шевеля губами, а потом захныкал.

– Красиво же! Смотри, как красиво! – не сдавался Левон, перекачивая в ладонях гальку.

Гево продолжал скулить. Когда Левон убрал гальку в карман, он замолчал и уставился на брата выжидающе. Левон снова вытащил зеленые камушки и сунул их ему под нос. Гево с полминуты внимательно изучал их, потом снова захныкал. Левон поспешно убрал камушки в карман.

– Какой же ты дурачок! – зашипел он на брата и моментально застыдился того, что обозвал его. – Я же помочь хотел, – примирительно зашептал он, коснувшись указательным пальцем мизинца Гево. Тот сразу же отдернул руку и заворчал.

Левон пожал плечами и пустился колесом по комнате. И пока тело вытворяло привычные кульбиты, он думал о том, до чего же это сложно – любить того, кто этого не понимает.

День смотрин Гево провел у жарко затопленной печи, сосредоточенно собирая свою пирамидку. Астхик наблюдала за ним с интересом, но не решилась спросить, почему он не такой, как остальные его сверстники. Левон сам ей рассказал все, что знал об аутизме.

– Он как будто живет в одной комнате, а все мы – в другой. И двери между нашими комнатами нет. Потому он не может пробиться к нам, а мы – к нему, – объяснил он теми же словами, которыми в свое время объяснила ему мама.

Астхик озадаченно помолчала.

– Он всегда будет таким?

– Да. Ну, если только врачи не найдут лечения. Но они его пока не нашли.

– Сколько ему лет?

– Четырнадцать.

– Большой. А как будто маленький.

Она перевела взгляд на Левона, и он снова удивился обсидиановой черноте ее глаз. В окаемке пушистых ресниц они казались двумя бездонными провалами.

«Интересно, сны тоже ей снятся черные?» – подумал он, но спрашивать не стал – чтоб не обижать.

Она взяла его за руку – пойдем пить кока-колу?

Он мгновенно вспотел и выдернул руку.

– Я что, сам не дойду?

Она пожала плечом – дойдешь, конечно, не маленький.

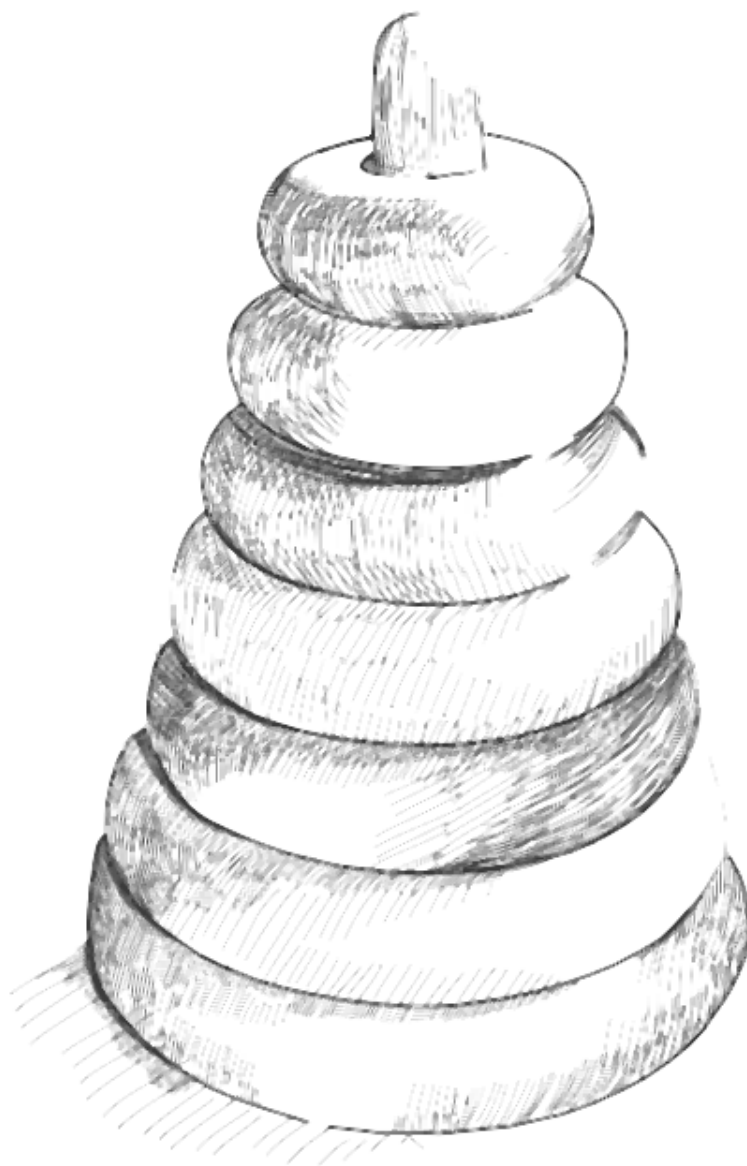
* * *

Если подумать, забот от Гево было не так уж много: он хорошо спал, ел по часам, редко капризничал. Ходил по дому осторожно, обязательно держась за стену. Особенно любил лестницу, ведущую на второй этаж – в спальни. Она плотно прилегала к стене, и, поднимаясь и спускаясь, Гево, игнорируя перила, опирался на нее кулаком. От его частых прикосновений на светлой поверхности стены оставались темные следы, которые с точностью повторяли количество ступенек и наклон лестницы. Посмотреть со стороны – будто кто-то пририсовал над перилами drobный узор в двенадцать неровных кружочков.

К телевизору Гево был равнодушен, игнорировал мультики. На звук компьютерных стрельбок, к которым пристрастилась Маргарита, реагировал нервно, потому она играла в наушниках. Радовался стуку игральные костей, когда дед с папой садились за нарды. Папа несколько раз предлагал ему кинуть кости, но он мотал головой и для надежности убирал руки за спину. На прикосновения реагировал так, будто они ему причиняют физическую боль. Чаще всего он не понимал, о чем его просят, но иногда вел себя сообразно обстоятельствам, чем очень радовал близких, которые не переставали надеяться, что однажды его сознание вынырнет из того дремотного состояния, в котором находилось.

Втайне от остальных Левон мечтал разрушить стену, которая отделяла Гево от остального мира. Попытки он предпринимал самые разные: то рисовать с братом возьмется, то лепить, то книгу примется ему читать, а то подсядет с планшетом и показывает обучающие мультфильмы для маленьких. Гево почти всегда оставался безучастным, иногда хныкал. Это расстраивало Левона, но сдаваться он не собирался. Для себя он давно уже уяснил: раз брат реагирует на цвета пирамидки, значит, цвет – единственный мостик, который перебросило его сознание в этот мир. И, пока Гево сосредоточенно собирал и разбираал пирамидку, он, расположившись рядом, упрямо рисовал, объясняя: вот смотри, Гево, это речка, она синяя, это дерево, оно внизу коричневое, наверху зеленое, а небо, например, голубое. Голубой, Гево-джан, это синий, но будто бы разбавленный водой... Брат иногда отрывался от своей пирамидки, чтобы заглянуть в рисунок Левона, но сразу же отворачивался. Левона подмывало сунуть ему в руку карандаш

и поводить по бумаге, чтобы показать, как им пользоваться, но он не мог – брат не позволял никому, кроме мамы, к себе прикасаться. Впрочем, когда мама по просьбе Левона несколько раз вставляла карандаш в руку Гево, дело заканчивалось одинаково – он отшвыривал его и принимался хныкать. Маму это расстраивало донельзя, Левон аж всем своим существом ощущал, как в ее душе начинало волноваться синее море слез, распадаясь и снова собираясь волнами-скобками в восьмерки.



«Сам разберусь», – решил он, обещав себе никогда больше не привлекать маму к попыткам достучаться до Гево.

Идея с крашеной галькой пришла ему в голову, когда на день рождения он получил в подарок огромную коробку пазлов с пиратами Карибского моря. Тогда он и призадумался, что, наверное, можно было бы что-нибудь подобное изобрести для Гево. Он мог бы играть с камушками, собирать из них в какие-нибудь узоры, перекладывать из кучки в кучку, пересыпать в ведерко... К сожалению, и эта затея ни к чему не привела. Левон сначала не очень расстроился

и даже решил через время снова вернуться к игре в гальку. Но когда вытащил ведро, чтобы кинуть туда зеленые камушки, то неожиданно для себя заполз под кровать, зарылся лицом в ладони, чтоб никто не слышал его голоса, – и зло и коротко разрыдался. Потом, утерев слезы, он выбрался из-под кровати и, решив, что с него хватит, понес выкидывать ведро. Ничего он больше не станет придумывать, и если все, что от него требуется, – это вовремя подавать откатившийся в сторону круг пирамидки, то так и быть, он будет делать это столько раз, сколько потребуется брату.

Гево стоял у подножия лестницы и, прислонившись кулаком к стене, собирался шагнуть на первую ступеньку. При виде Левона он убрал ногу, давая ему спуститься – не любил делить лестницу с кем-либо еще, даже с мамой поднимался по очереди: сначала она, потом – он. Левон зашел вниз по ступенькам, перекачивая на ладони несколько камушков, которые не глядя выхватил из ведра. Спрыгнув с последней ступеньки – галька в ведре издала громовой грохот, – он посторонился – можешь подниматься. Гево уставился на камушки, которые брат держал в согнутой ковшиком ладони. Проследив за ним взглядом, Левон сам уставился на них: три ярко-желтых камушка. Едва он удивился тому, что ухитрился не глядя выхватить из ведра гальку одинакового цвета, как Гево сделал невероятное: с несвойственной ему стремительностью он выхватил эти камушки и, сжав руку в кулак, убрал ее за спину. Левон стоял, боясь шелохнуться. Алюминиевая дужка тяжелого ведра вонзилась в ладонь, но он этого не ощущал. Он пытался осмыслить произошедшее: брат, который не позволял никому, кроме мамы, к себе прикасаться, сам дотронулся до него, чтобы забрать гальку, которая буквально несколько минут назад его раздражала. И теперь он прячет у себя за спиной три желтых камуш... Вдруг его пронзила догадка. Он, уже не остерегаясь того, что рассердит Гево, порывшись в ведре и выудил два зеленых камушка. Протянул их брату. Тот почти сразу же захныкал. Тогда Левон выудил из ведра еще два зеленых камушка, расположил вместе с двумя другими квадратиком на ладони и протянул Гево. Тот уставился на гальку, пошевелил губами и сгреб ее свободной рукой.

– Ты... ты чувствуешь цвет ровно так же, как и я?! – полуспросил-полуутвердил Левон. Гево загулил, словно голубь. Гулил он всегда, когда был чем-то очень доволен.

Зажмурившись, Левон с нерешительностью шагнул к брату и обнял его. Тот пару секунд терпел его объятие, потом с ворчанием отстранился. Но это уже было несущественно, это ровным счетом не имело никакого значения, потому что те несколько секунд, что можно было к нему прикасаться, показались Левону прекраснейшей вечностью.

Один: белый

Иногда казалось, что тетка ненавидит весь белый свет. Владельцы магазинчиков, бухгалтерию которых она вела, были не иначе как идиотами. Инспекторы пенсионного фонда и налоговой службы – жуликами. Операторов банка она обзывала недоумками. Вежливого молодого человека, заглядывающего раз в месяц за показаниями счетчика холодной и горячей воды, – раздолбаем. Родной городок был для нее исключительно захолустьем, дорожные рабочие, долбящие смерзшуюся землю, чтобы сменить лопнувшую трубу – нищелюдами, а предновогодняя суэта, затянувшая в свой лихорадочный круговорот людей, – языческой вакханалией. Что не мешало ей, вооружившись списком для праздничного стола, ходить по лавочкам и скупать продукты и милые сердцу безделушки, как то: нарядные салфетки, разноцветные свечи, рождественские веночки, открытки, силиконовые формочки для выпечки и переливчатую канитель. И конечно же, гофрированную бумагу, в которую нужно было заворачивать подарки.

Елку, правда, тетка никогда не ставила и в этом году исключения делать не стала, хотя бабушка ее об этом очень просила:

– Ребенку будет в радость!

Тетка была непреклонна:

– Украсим подоконники игрушками и гирляндами – будет ей радость.

Астхик обижаться не стала, потому что знала: искусственную елку тетушка терпеть не может, а срубленную из принципа покупать не станет, мотивируя тем, что это форменное извращение – хранить труп растения у себя в доме. «Самая красивая ель – та, которая растет в лесу. А не та, что торчит из ведра с песком, увешанная игрушками и гирляндами!» – объяснила свою позицию она. Астхик ее доводы вполне устраивали.

Подготовка к праздникам – Новому году и Рождеству – растянулась на целую неделю. Сначала в квартире произвели генеральную уборку, перемыв все окна, начистив до блеска ванную комнату, перестирав и перегладив белье и натерев паркетные полы пахнувшей хвоей мастикой. Потом настала пора готовки и выпечки. У плиты в основном вертелась бабушка. Работы в этот раз было особенно много – во-первых, часть припасов мама с теткой собирались отвезти папе, ну и к традиционным визитам нужно было подготовиться: новогодние праздники – пора гостевания, а гостей не принято было выпроваживать голодными.

Уроков перед праздниками особо не задавали. Быстро справившись с ними, Астхик, сунувшись на кухню и стянув мятный пряник, убежала играть с Леоном. Первым делом они наведывались во двор церкви, чтобы полюбоваться рождественским вертепом. Иосиф и Мария не отрывали любящего взгляда от завернутого в лоскутное одеяльце младенца, горели свечи, хлев обступали плохонько слепленные глиняные животные, и нужно было сильно постараться, чтобы отличить вола от овцы.

Густо снежило, потому балдахин, натянутый над святым семейством, приходилось постоянно отряхивать. Для этого несколько раз на дню из церкви выдвигался священник тер Тадеос, неся под мышкой обмотанный мягкой тканью веник. Длинная ряса развевалась широкими полами, на груди качался маятником крест. Следом ковылял церковный сторож, неся стремянку. Пока тер Тадеос орудовал веником, стряхивая с шатра снег, сторож поддерживал стремянку и притворно вздыхал, подмигивая собравшейся вокруг детворе:

– Тер Тадеос, а ведь по нам можно время сверять!

– Это почему? – не подозревая подвоха, отрывался от работы священник.

Сторож потирал кончиком указательного пальца крючковатый нос, глядел вверх, запрокинув голову, чтобы поймать взгляд священника:

– Мы с вами, словно ходики с кукушкой: каждый час из церкви выскакиваем! Неплохо было бы при этом еще и куковать, но вас же не заставишь!

– Размик, ты опять за свое?

Детвора хихикала, тер Тадеос, сердито пыхтя, стряхивал веником снег, сторож, посмеиваясь, подпирал плечом стремянку.

В перерывах между чисткой балдахин превращался в насест, который, к вящему недовольству тера Тадеоса, облюбовал его же петух. Дом священника находился в двух шагах от церкви, и повелитель курятника, грозный золотисто-черный крикун, видимо, решив разделить с хозяином его заботы, повадился наведываться во двор церкви. Обычно он недолго прогуливался по газонам, снисходительно ковыряясь там и сям желтым клювом, потом, взлетев на балдахин, сидел там, злобный и нахохленный, победно обкукарекивая всякую мимо проезжающую машину. Притом, чем больше была машина, тем громче звучал его задиристый крик.

В какой-то миг у тера Тадеоса заканчивалось терпение, и он выскакивал из церкви, размахивая веником, словно кадилом. И тогда детвора очень веселилась, наблюдая за тем, как улепetyвает, надрывая глотку, пронзенный до глубины души хозяйской неблагодарностью петух. Отогнав его на безопасное расстояние, священник возвращался, утирая рукавом выступивший на лбу пот. Проходя мимо хихикающих детей, он неизменно осенял их крестом и, обозвав оболтусами, скрывался за тяжелой церковной дверью.

Полюбовавшись тертадеосовским бегом по пересеченной местности, Левон с Астхик уходили на игровую площадку, где, вдоволь накатавшись на ледяных горках, расходились по домам. Иногда Астхик заглядывала к своему другу домой – перекусить бутербродами, выпить какао или, если бабо Софа была в снисходительном настроении, – кофе с молоком (кофе давали детям крайне редко). Гево, стараниями младшего брата освоивший игру в разноцветные камушки, удивлял новыми навыками. С недавних пор он научился складывать математические фигурки, строго закрепив за каждой свой цвет: треугольник у него всегда был желтым, квадрат – зеленым, круг – красным. Обратив на это внимание, Левон совсем не удивился, более того, немного поразмыслив, выбрал из ведерка коричневые камушки и сложил их в форме прямоугольника. Гево с благосклонностью новую фигуру принял.

– Как ты догадался? – опешила Маргарита.

Левон возвел глаза к потолку, пытаясь подобрать слова для доходчивого объяснения.

– Вот смотри: когда ты думаешь о шоколаде, ты уже знаешь, что он сладкий и очень вкусный, правильно? Ты даже чувствуешь его вкус у себя во рту.

– Н-навверное, – неуверенно согласилась Маргарита, обещав себе в следующий раз обратить внимание на свои ощущения, когда вспоминает о шоколаде.

– Так же и с цветом. Если правильно представить его – сразу понимаешь, какая у него форма. Какая цифра. И какая музыка.

– Музыка? Да ладно! И какая, – Маргарита призадумалась, – музыка у белого цвета?

– Что ты разучивала в декабре? Ты еще расстраивалась, что учительница недовольна, потому что тебе не удается держать ровный темп.

– «Лунный свет» Дебюсси. Крохотный кусочек.

– Ага. Так вот, тот кусочек – белый.

Астхик, присутствовавшая при этом разговоре, не встревала, но слушала внимательно, не переставая удивляться тому, до чего же чудной мальчик Левон. И сколько в нем такого, чего нет в других детях. О его особом восприятии мира она узнала совсем случайно, когда они попали под густой снегопад. Хлопья были огромные, казалось – в половину ладошки, падали медленно и нерешительно, будто сомневаясь – вдруг перепутали время года. Левон поймал одну такую снежинку на варежку и, полюбовавшись ей, пустил кружиться дальше. А потом посмотрел вверх и выдохнул: «Воздух такой один!»

– Одинокий, – поправила Астхик, тоже посмотрев вверх.

– Одинокий?

– Ну, ты сказал – воздух такой один! Правильнее одинокий, разве нет?

– А! Я имел в виду не одиночество, в цифру один. Единицу. Она белая, как и воздух, когда падает снег. Слушай, тут такое дело...

И Левон рассказал ей о своей синестезии. Она слушала, приоткрыв от удивления рот. Дослушав, решила сострить, чтобы скрыть свое замешательство:

– У вас в семье все необычные? Может, вы все – инопланетяне?

Левон захихикал:

– Ага. Особенно бабо Софа!

Астхик, расположившись напротив Гево, наблюдала за тем, как он, совершенно не уставая от однообразия своего занятия, собирает пирамидку или играет в гальку. Иногда он умудрялся совмещать два своих любимых занятия: складывал камешки в форме своей деревянной пирамидки, в строгом соответствии с цветом и очередностью колец. Однажды Левон, устроившись рядом, выложил свою пирамидку, где в самом низу располагался ряд из десяти оранжевых камешков, далее по убывающей следовали остальные цвета. На самом верху одиноко лежал белый камешек.

Гево, изучив пирамидку, обиженно закричал.

– Что не так? – переполошился Левон и собрался было уже сгрести гальку, но брат его опередил. Ненадолго зависнув рукой над его пирамидкой, он провел пальцами между синим и коричневым рядами, разделяя их.

Левон чуть не поперхнулся. Волнуясь и торопясь, он сложил камушки таким образом, как показал ему старший брат. Теперь пирамидка выглядела так, будто ее разрезали ножницами, отделив низ от верха. Гево, изучив ее, одобрительно загулил и вернулся к своему занятию. Возликовав, Левон побежал рассказывать родным о случившемся, Астхик же решила сверить узор его пирамидки с таблицей-напоминалкой, которая висела на стене. Синий – восемь, коричневый – шесть. Между ними – пустота, седьмой ряд отсутствует...

– Я же говорил, я же говорил, что семерка бесцветная! Гево это чувствует, Гево это тоже знает!!! – подпрыгивал нетерпеливо Левон, подталкивая в спину всполошенных деда с бабушкой.

– Чудны дела твои, господи! – развел руками дед, изучив пирамидку и наконец-то сообразив, что именно ему пытался втолковать внук. Бабо Софа, расцеловав Левона в обе щеки и отправив воздушный поцелуй Гево, на радостях принялась за песочное тесто. «Будут вам миндальные рогалики к чаааю!» – напевала она, рубя холодное сливочное масло острым ножом.

– Может, к кофе с молоком? – хитро прищурился Левон.

– Не наглей! Вчера пил!

Астхик захихикала.

– Надеяться на чудо, конечно, бессмысленно, мы не в том положении, чтобы тешить себя наивными иллюзиями. Но по крайней мере теперь есть какие-то зацепки, которые позволят вам, в первую очередь полагаясь на чутье Левона, попасть в эмоциональную волну его брата, – объяснил недавно доктор.

Семья Левона изо всех сил притворялась, что не верит в чудеса. Но Астхик знала, что это не так. Даже самое незначительное, самое крохотное изменение в поведении Гево воспринималось его родными предвестником чего-то большого, обнадеживающего, прекрасного. Астхик их понимала. Она сама очень хотела, чтобы случилось несколько чудес. Чтобы папу выпустили раньше. Чтобы тетка полюбила маму. И чтобы нашелся новый дом, с большим яблоневым садом, где круглый год будут расти незрелые яблоки и где они счастливо будут жить всей своей семьей.

* * *

Мама с теткой с самого рассвета были на взводе – нужно было собрать передачу в колонию. К десяти часам за ними должен был заехать родственник, чтобы отвезти на свидание. Тетка планировала вернуться в тот же день, а мама должна была на следующий – ей разрешили провести с папой сутки.



Все началось с пустяка – мама захотела взять блинчики с мясом, тетка же сказала, что лучше не надо, жарить их будет негде, а холодные они все равно невкусные. Мама скрепя сердце согласилась на пирожки с картошкой. Потом вышла история с пахлавой – мама просила, чтобы ее не поливали медом, потому что папа любил ее суховатой, но в тетку будто бес вселился. Со словами «немного можно!» она буквально утопила пахлаву в растопленном меде. Мама

ужасно рассердилась (Астхик это поняла по тому, как часто забилась на ее шее жилка), но сдержалась. А потом тетка сходила в подвал – за кизилевым вареньем и, вернувшись, с порога, явно торжествуя, объявила, что люльку испортили крысы.

Люльку мама собиралась оставить в квартире, но тетка не позволила ей это сделать, мотивируя тем, что мало места. Места действительно было мало, и мама решила вынести люльку на балкон. Но тут воспротивилась бабушка – балкон был не крытый.

– Влага попортит дерево.

– Куда же ее убрать? Не в подвал же уносить. Там крысы, – возразила мама.

Но тетка уверила ее, что бояться нечего: крыс сто лет никто не видел, каждый год все помещения исправно обрабатывают от грызунов. И, не обращая внимания на ворчание бабушки «знаю, как они там все обрабатывают», она самолично поволокла люльку в подвал.

История с люлькой стала последней каплей. Узнав о том, что крысы все-таки добрались до нее, мама сначала оцепенела, а потом сделала такое, чего от нее никто не ожидал. Издав разъяренный вопль, она набросилась на свою золовку и начала трясти ее, словно грушу, шипя сквозь зубы: «Ненавижу тебя! Ненавижу!» Тетка до того опешила, что дала себя немного потрясти, прежде чем отпихнуть ее. Но ей это не удалось – мама вцепилась в нее мертвой хваткой. Тогда тетка попыталась схватить ее за волосы и снова потерпела неудачу – мама всегда стриглась коротко, под мальчика. Взбесившись, тетка собрала пальцы в кулак и больно стукнула ее по голове. Мама пнула ее ногой, потом схватила за руку и попыталась вывернуть. Она опомнилась лишь тогда, когда перепуганная Астхик разрыдалась. Отцепившись от золовки и моментально потеряв к ней интерес, она приобняла плачущую дочь и повела ее на кухню. Сунув ей стакан с водой, вытащила из холодильника блинчики с мясом, намереваясь положить их в сумку с припасами.

– Угробила моего брата, теперь и меня хочешь? – взревела из прихожей тетка.

Мама молчала. Губы ее побелели и слились с цветом лица, зеленые глаза стали совсем прозрачными, будто слюдяными, Астхик испугалась, что она может ослепнуть от переживаний.

– Это ты во всем виновата! – разносился по квартире злобный визг тетки. – Жить тебе, видите ли, было здесь невмоготу, нужно было переезжать в свое захолустье. Что ты тогда сказала? «Хочется своего, отдельного счастья». Ну что, получила свое отдельное счастье? Жрешь теперь его большими ложками?

Склонившись над сумкой, мама дергала язычок молнии, чтобы застегнуть ее. Тяжелые слезы срывались с ее щек и падали на аккуратные свертки с припасами.

Астхик выбежала в прихожую, чтобы попросить тетку не кричать на маму, но ее опередила бабушка: она подошла вплотную к своей дочери и отвесила ей звонкую оплеуху. Та захлебнулась криком, ахнула и прикрыла щеку рукой.

– Может, это не она, а ты виновата в том, что случилось! Никогда об этом не задумывалась?! Нет? А надо было! Кто ее невзлюбил с первого дня свадьбы? Ты! Кто ел ее поедом и сделал все, чтобы они переехали? Ты! – бабушка выплевывала слова, будто выстреливала ими в дочь. Та от каждого ее слова вздрагивала всем телом и съеживалась, уменьшаясь в размерах.

Прислонившись спиной к острому косяку двери, заплаканная Астхик наблюдала несчастный, бьющийся в истерике, израненный и беспомощный женский мир. Каждый пазл развернувшегося перед ее глазами действия – плачущая, все никак не справляющаяся с молнией сумки мама; мертвенно-бледная, разом одряхлевшая бабушка; сторбившаяся тетка, бесшумно скрывающаяся в своей комнате, – собирался в липкий и душный морок, слепое страшное бельмо, поглощающее дневной свет. Астхик захотелось зажмуриться и никогда больше не открывать глаз, чтобы не позволять тому, что она увидела сейчас, разрушить ее мир.

«Дзынь-донн, дзынь-донн», – бестолковым колокольчиком зазвенел дверной звонок. Без четверти десять. Пора было ехать к папе.

* * *

Тетка отказалась выходить из своей комнаты, поэтому с мамой поехала бабушка. Астхик решила тетку не беспокоить и провела долгое время у себя – почитала, посмотрела мультик, пообщалась с Левом в тиктоке. «Пойдем поиграть?» – написал он ей. «Неохота». «Ладно».

К семи часам квартира погрузилась во мрак.

Тетка все не выходила, и обеспокоенная Астхик решила сама к ней заглянуть. Поскребалась в дверь, не дождавшись ответа, приоткрыла ее. Тетка лежала в кровати, накрывшись с головой. Когда дверь скрипнула, она зашевелилась, но вылезать из-под одеяла не стала.

– Хочешь кофе?

Тетка молчала. Астхик подошла к кровати, присела на краешек.

– Я сварю, ты только скажи.

Гробовая тишина.

Астхик скинула тапки, легла рядом с теткой и прижалась к ней. Та протяжно вздохнула, высунула руку и сгребла ее под одеяло. Девочка обняла ее крепко-накрепко за шею.

– Я тебя так люблю, так люблю... – зашептала тетка.

– И я тебя люблю.

– Я сегодня была невыносимой.

– Ага.

– Со мной достаточно часто так бывает.

– Почти всегда.

Тетка фыркнула – балбеска.

Под одеялом было жарко, но Астхик не шевелилась, чтобы не встревожить то хрупкое ощущение покоя, в котором они пребывали.

– Ты могла бы любить меня чуть меньше, а маму чуть больше? Пожалуйста! – попросила она.

Молчание тянулось вечность.

– Я постараюсь, – наконец отозвалась хриплым голосом тетушка.

Астхик нашарила ее руку, зарылась в ладонь лицом, прогудела:

– Может, все-таки кофе?

– Давай!

К возвращению бабушки на кухне кипела работа: тетушка, замешивая тесто, объясняла племяннице, что месить его нужно до особой, шелковой гладкости, иначе коржи получатся твердокаменными.

– А какими они должны быть?

– Невесомыми и ломкими.

Бабушка совсем вымоталась, но ложиться спать не стала. Она расположилась за столом и, грея руки о чашку с горячим чаем, наблюдала, как дочь с внучкой раскатывают слои для торта «Микадо». О безобразной сцене, разыгравшейся утром, она не вспоминала. Астхик с тетушкой – тоже.

Семь: молчание цвета

Январь прят ледяную крупу без устали, истово, будто соревнуясь с собой же, прошлогодним, когда он умудрился наместить за ночь столько снега, что, не выдержав тяжести, обрушились сразу несколько черепичных крыш и плашмя легли ветхие деревянные заборы. Этот январь явно обыгрывал старого – распоров над землей небесную перину, он без конца сыпал сухим пухом, старательно законопачивая всякий угол, всякую щель, всякую мало-мальски видимую

глазу трещинку. Накануне Богоявления городок утопал в снегу по колено. К вечеру неожиданно потеплело, всего на пару часов, и этого оказалось достаточно, чтобы снежный покров слегка подтаял поверху. Следом ударил мороз – северный, неумолимый, сковывающий дыхание. Спешно снявшись с речного устья, перелетели ближе к человеческим жилищам стаи галок и ворон и, схоронившись на чердаках и под коньками крыш, ближе к печным и отопительным трубам, притихли. Умолкли дворовые псы.

Предрождественское утро разрисовало застекленные веранды завитушками инея, заледенило дороги. К полудню небо снова заволокло облаками, нахмурилось, заснежило – теперь уже надолго, на многие дни. Единственное, чего хотелось всякому взрослому человеку в такую погоду, – сидеть дома, пить горячий чай и любоваться мигающими огоньками гирлянд. Однако у младшего поколения было на этот счет свое мнение, потому, невзирая на кусачий холод, во дворах и скверах бурлила жизнь: детвора каталась на санках и ледянках, по-южному неумело ходила на лыжах, играла в снежки, возводила и обрушивала снежные крепости... Домой заглядывала с большой неохотой – наспех перекусить, переодеться в сухое и убежать обратно.

Левона, заигравшегося и забывшего про обед, удалось заманить только обещанием пожарить картошку.

– Поем и снова уйду! – заявил он с порога, скидывая на пол комбинезон.

– Пуповину этого ребенка на улице обрезали, вот его постоянно и тянет туда! – выглянув из кухни, привычно пробухтела бабушка и снова скрылась за дверью. Левон прошел в ванную, сунул озябшие руки под горячую воду, ощущая, как блаженное тепло, растекаясь по пальцам и ладоням, устремляется вверх, к локтям, плечам, охрипшему от взбудораженного крика горлу. В желудке заурчало – требовательно, сердито. Левон вытер насухо руки и погладил себя успокаивающе по животу. Нестерпимо захотелось есть.

Картошка скворчала, покрываясь хрустящей зажаристой корочкой. Каждый раз, когда бабушка поднимала крышку, чтобы перемешать блюдо, Левон подбегал к плите и выпытывал, долго ли осталось ждать. Бабушка отодвигала его локтем – боялась, что капли горячего масла брызнут в лицо. «Можно обжечься!» – ворчала она. Картофель румянился и золотился, Левон судорожно втягивал ноздрями воздух и вздыхал: желудок сводило от голода!

Маргарита в гостинной тренькала на пианино очередную фугу Баха, наводя тоску на весь дом.

– Как ты умудряешься не уснуть под эту скукотищу? – сунулся к ней Левон.

– Никак, – фыркнула она и добавила, зловредничая: – Вот отдадут тебя в музыкалку, будешь знать.

– Отдадут, ага! Я на футбол пойду.

– Держи карман шире!

– Мне дед обещал. А я ему обещал играть, как Генрих Мхитарян!

Маргарита задубасила по клавишам. В последнее время она страсть какая была злая! Переживала из-за прыщей, которые, будто сговорившись, бесперебойно выскакивали на ее лице. Притом выбирали они почему-то самые обидные места, где их отовсюду было видно – лоб, например, или крылья носа. Вот сестра и куксилась.

Гево, расположившись на своем любимом пледе, собирал пирамидку. Мама стянула его длинные выющиеся волосы резинкой, чтобы они не лезли в глаза, и теперь они торчали перьями Чиполлино.

На кухне развернулась очередная война: дед отстаивал свое право есть картошку «аль денте». Он любил ее полусырой, но допроситься у жены, чтобы она отложила ему порцию, не всегда мог – бабо Софа считала недоваренную пищу прямым оскорблением собственного кулинарного дарования и на просьбы мужа отвечала твердым отказом.

– Мам, неужели тебе сложно отложить ему этой треклятой картошки? – не вытерпев, однажды высказал ей сын, которого явно задевало такое отношение к собственному родителю.

– Не сложно, – чуть поразмыслив, снисходительно ответила бабушка.

– Почему тогда не сделаешь, как он просит?

– Раздражает потому что. Подавайте ему, видите ли, картошку «аль денте»! Пусть тогда в сырых клубнях ест, можно с грядки!

– Тебе понравилось бы, если бы моя жена говорила обо мне подобным образом?

Бабушка растерянно заморгала.

– Вот и не подавай ей плохой пример, – не позволяя ей опомниться, закруглил разговор папа.

Томимая неясными муками совести, бабо Софа иногда все-таки позволяла своему отчаянно протестующему мужу подворовывать картошку со сковороды. Правда, сегодня дед качал права аккуратно, почти шепотом, стараясь не привлекать внимания сына, которому домашние негласно отвели роль третейского судьи. И все потому, что с утра уже успел отличиться: бабушка, меняя постельное белье, обнаружила под его матрасом блистеры с лекарством от сердца, которое он якобы принимал. И вместо того чтобы по своему обыкновению учинить ему привычный вынос мозга, прямоком пошла жаловаться сыну. Левон никогда не видел своего папу таким разъяренным. Он аж ногами затопал, когда узнал, что дед игнорирует выписанное доктором лекарство.

– Ты угробить себя хочешь? Не думаешь о себе, о нас хотя бы подумай! – напустился он на своего отца, трясая, словно военным трофеем, блистерами. Крохотные таблетки-сердечки шуршали в прозрачных ячейках, Левон еще подумал, до чего же они хорошенькие и как можно такую красоту не принимать. Это же почти конфеты!

Дед мычал невнятное, отводил глаза. Наконец прочистил горло.

– Они, это, – и он, задрав многозначительно бровь, кивнул куда-то вниз, – убивают.

– Что... убивают? – не понял папа.

Дед покосился на Левона, потом махнул рукой и выговорил в одно слово:

– Мужскую силу убивают.

Бабушка, которая все это время, сердито поддакивая сыну, стояла руки в боки рядом, густо покраснела и, обозвав мужа охлагом, вылетела пулей из комнаты. У папы же сделалось такое лицо, будто его щекочат в четыре руки, но он поклялся под страхом смертной казни не рассмеяться. Он кхекнул, хмыкнул, пожевал губами, засунул руки в карманы, покачался с носка на пятку. Но потом все-таки собрался и вновь посуровел лицом.

– Значит так, Казанова. Праздники закончатся – отвезу тебя к врачу. Попросим назначить более, кхм, щадящие таблетки. А пока пей эти. Договорились?

– Посмотрим.

– Пап!

– Ладно.

– От давления лекарство принимаешь?

– Гхм.

– Принимаешь???

– Да.

Поартачившись для проформы, бабушка положила все-таки своему мужу картошки, не преминув уточнить, что терпение ее не безгранично, и в следующий раз пусть он свои коленца где-нибудь в другом месте выкидывает. Особенно в аспекте убывающей мужской силы. А с нее хватит!

Чтобы отвлечь их от перепалки, Левон принялся рассказывать, как здорово сегодня было кататься на санках по узкому пологому закоулочку, который пролегал между соседскими домами.

– Закоулок превратился в каток, санки пролетают с такой скоростью, будто ты на космической ракете! Папа Арика прорубил сбоку ступеньки, чтобы нам легче было подниматься вверх.

– Машин нет? – забеспокоилась бабушка. Закоулок пересекался внизу с узкой, в одну полосу, дорогой, по которой иногда проезжали автомобили.

Левон ее успокоил:

– Не волнуйся, во-первых, папа Арика сделал на тротуаре большой снежный заслон, он не дает нам выехать на дорогу. И потом кто-нибудь из нас обязательно дежурит внизу и предупреждает, если едет машина.

Гево выронил кольцо пирамидки, и оно, медленно вращаясь, откатилось под стол. Левон поднял его и ловко водрузил на место.

– Вот бы Гево там покатасть, ему точно понравится! – мечтательно протянул он. – Мы же его, словно маленького, по двору только и катаем. А он ведь скорость очень любит!

Езду Гево любил донельзя. Если нужно было куда-то выбираться на папиной машине, счастьем его не было предела. Мама всегда усаживала его на заднее сиденье, у левого окна, сама садилась рядом и всю дорогу держала за руку. Гево ехал, не отрывая взгляда от проносящихся мимо заборов, домов, садов, людей. Особенно оживлялся при виде животных – коров, например, или овец. Вытягивал шею, прилипал носом к стеклу, дышал – восторженно вздыхая. Правда, выходить к ним боялся и стекло опускать не давал. У него были свои санки – с укрепленной спинкой и ремнями, которыми нужно было пристегнуть его к сиденью, чтоб он не свалился. В них дед или папа катали его в снежное время по двору.

Было бы действительно здорово покатасться с ним по закоулку. Левон бы прицепил его санки к своему снегокату, поехали бы паровозиком, он – впереди, Гево – сзади. Дед, а? Хоть разочек.

Дед почесал в затылке.

– Ну, если твои родители не против...

Кататься паровозиком Гево очень понравилось. Он сидел в своих санках – румяный от мороза, с блестящими, в белоснежной опушке замерзших ресниц, глазами, обмотанный по нос шерстяным шарфом – и гулил от счастья. Дед помогал дотащить его наверх – Левон бы один не справился, Гево был очень тяжелый, – потом спускался к дороге и подавал знак рукой – можно! И Левон, потихоньку набирая скорость, съезжал по закоулку, стараясь не сильно разгоняться, чтобы контролировать ставший неповоротливым снегокат. Повсюду кружилась мелкая снежная крупа, ветер охлаждал лицо, радость распирала грудь – казалось, сердце сейчас выпрыгнет наружу и полетит впереди воздушным шариком, указывая путь. Гево даже повизгивал от счастья.

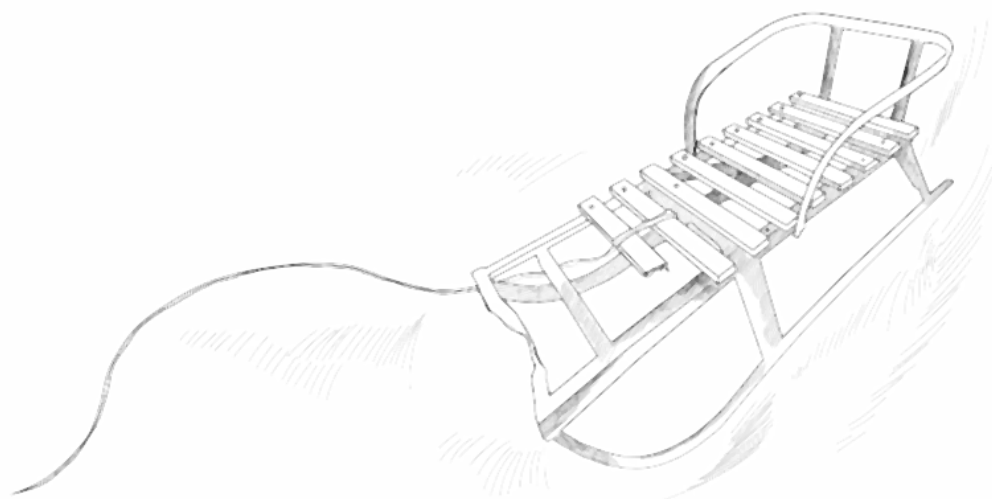
– Хорошо, да? – кричал ему Левон, притормаживая то одной, то другой педалью, чтобы легче было брать небольшие повороты. И, хоть Гево не отвечал, Левон не сомневался, что брату хорошо. Так хорошо, как никогда.

Но в очередной раз, когда, оттолкнувшись ногой, Левон поехал вниз, случилось страшное: поджидавший их у дороги дед вдруг дернулся, схватился за грудь и рухнул ничком на тротуар. Левон сразу понял, что ему стало плохо с сердцем.

– Дееед! – заорал он. – Деееешукааа!!!

Арик, стянув зубами рукавицу, вытаскивал из кармана мобильник.

– Один-ноль-три! – крикнул ему Левон, хотя не сомневался – номер скорой помощи он помнит хорошо – тикин Сара заставила учеников внести в телефонную книжку и выучить наизусть все номера экстренных служб. Левон добавил ходу, чтобы быстрее доехать до деда. Снегокат замотало и повело боком, он слышал, как санки Гево чиркнули по забору, проехали по прорубленным в снегу ступенькам, скрипя и подскакивая. «Потерпи немножко, миленький, уже скоро», – обратился он мысленно к брату и подался вперед, крепко сжимая руль.



Дорогу осветил свет фар – справа вынырнула большая машина. Кто-то из мальчиков махнул рукой, она стала сбавлять ход. Левон, пытаясь убавить скорость, вдарил по тормозам, но с управлением уже не справился: ведомый тяжестью прицепа, снежокат, проскочив тротуар и пробив заслон, выехал на проезжую часть и опрокинулся. Левона выбило из сиденья, он упал на спину, перекатился на бок, вцепился в полозья санок Гево, которые несло под колеса машины. Та резко затормозила, заскользила по обледенелой дороге, замоталась – хрипя, словно вспугнутое огромное животное... Последнее, что видел Левон, был номер машины – 77, и потом снова – 777. «Так вот почему», – успел он подумать перед тем, как потерял сознание. Больше он ничего не видел, потому что ему отключили свет.

Часть 2

Девять: фиолетовый

Забор был каменный, не очень высокий, но, вознамерясь кто-то разглядеть, что за ним происходит, скорее всего, потерпел бы неудачу – обзор заслоняли оставленные на произвол судьбы непомерно разросшиеся фруктовые деревья и бестолково нагроможденные постройки. Хозяйство имело неухоженный и даже заброшенный вид. Дощатая стена пустого птичника, опрокинувшись на кусты малины и подмяв их под себя, рассыпалась на отдельные рейки, успевшие пересохнуть и покорежиться от дождевой влаги. В коровнике лениво гулял душный сквозняк, скрипел настежь распахнутой дверью, на которой покачивался, глухо полязгивая, тяжеленный замок с застрявшим намертво заржавленным ключом. Сад и огород наглухо заросли сорной повиликой и ползучим пыреем. Вьюнок, облепив стену амбара, вскарабкался на шиферную кровлю и висел рваной ветошью, шелестя обсушенными летним ветром побегами.

Словно в пику разрухе, царящей во дворе, дом имел ухоженный и вполне гостеприимный вид: свежеекрашенные водосточные трубы окаймляли веселой желтой рамкой его каменный фасад, вымытые до блеска окна бликовали солнечными зайчиками, проемы форточек затягивали тщательно отстиранные марлевые шторы, лучше всяких москитных сеток защищающие не только от назойливой мошкары, но и от вездесущей пыли. Старательно выметенная лестница вела на увитую виноградной лозой веранду, обставленную кое-какой мебелью: продавленным двухместным диваном, журнальным столиком и двумя приземистыми табуретками. Судя по виноградным усикам, увивающим ножки табуретов, пользовались ими крайне редко.

Время было по местным меркам позднее, почти обеденное – половина двенадцатого. Солнце уже успело войти в раж и согреть землю до кусачего жара. Воздух пах раскаленным камнем, подувядшей травой и – требовательно и маняще – свежемолотым кофе. Устойчивый и непрошибаемый дух масляных, прожаренных до шоколадного блеска зерен витал над двором и заросшим сорняком садом, дразнил нюх. В доме готовились к кофепитию: журнальный столик был заставлен толстодонными плошками с крупной черешней, сладкой клубникой и терпко-приторной, стремительно темнеющей от яркого дневного света тутовой ягодой. В отдельной вазочке лежали плоды недозрелого абрикоса, рядом – блюдо с крупной солью. Есть абрикос полагалось, макая его в эту самую соль, удачно оттеняющую кислинку плода и терпковато-горький вкус молочной косточки, которую тоже можно было есть.

Скрипнула калитка, пропуская во двор двух гостей. Идущая впереди Маргарита посторонилась, церемонно уступая дорогу бабо Софе.

– И какая тебя муха укусила?! – хмыкнула та. – В обычный день бешеным бизоном затопчешь, а тут чуть ли не поклоны бьешь!

– Бабо, ты чего?

– Того, чего ты именно и заслужила, Маргарита!

Девочка обиженно дернула плечом. Полным именем ее называли, когда сердились за какие-то проступки. Пока она, надув губы, ждала, бабушка придирчиво разглядывала калитку.

– Полгода прошло, а она будто новая! Вон ведь как твой дед расстарался ради этой вертихвостки...

– Бабо! – укоризненно перебила ее девочка.

– Захрмар! – беззлобно огрызнулась старушка.

На веранду вышла хозяйка дома, но гости ее не замечали.

– Обязательно было мне тоже идти?! – скорчила недовольную гримасу Маргарита.

– Обязательно! – И бабо Софа сунула ей пакет, который держала под мышкой. – Сама отдашь! И извиниться не забудь!

Заметив хозяйку дома, с невозмутимым видом наблюдавшую за их перепалкой с верхней ступеньки лестницы, бабушка резко умолкла и подобралась: выпятила внушительную грудь, расправила концы накинутого на плечи нарядного шелкового платка, одернула край юбки. Пошла, важно чеканя шаг, навесив на лицо независимую мину. Проходя мимо запущенного навеса, не преминула цокнуть языком. Покачала головой, с явным осуждением окинув взглядом неухоженный сад. Прodelываемая якобы исключительно для себя пантомима имела явное демонстративное намерение. Хозяйка дома, верно истолковав поведение гостьи, даже бровью не повела, но и здороваться первой не стала, хотя молодой возраст обязывал. Она стояла, сложив на груди руки, и с ледяным спокойствием ждала. Красоты она была невозможной: большеглазая, темноволосая, изящно-тонкокостная и, несмотря на небольшой рост, вся какая-то устремленная ввысь, словно застывшая на недолгое мгновение в рывке перед парением. Платье на ней было легкое и короткое, едва прикрывающее колени. Высокие боковые разрезы оголяли ноги до бедра. Запястья украшали нежно позвякивающие серебряные браслеты. Густые волосы, собранные от жары в небрежный пучок, вились крупными локонами и лезли в глаза, и она, не раздражаясь, отводила их плавным жестом от лица.

Маргарита плелась за бабушкой, не отрывая взгляда от пыльных носков своих кед. Лишь раз обернувшись к высокому каштану, растущему сразу за каменным забором, искала глазами кого-то, бесслышно вздохнула. Бабушка же плыла впереди несокрушимым атомным ледоколом. Дойдя до лестницы, она встала руки в боки, задрала голову, смерила колючим взглядом хозяйку дома.

– Марина, здравствуй, – пожевав губами, наконец поздоровалась она и, обернувшись, со значением посмотрела на внучку.

– Здравствуйте. Мы тут вам принесли, – и Маргарита слабо помахала пакетом.

– Свет глазам того, кто вас видел, – деревенским приветствием шутиливо отозвалась хозяйка дома. – Так и будете стоять внизу? Поднимайтесь, я как раз собиралась кофе заварить.

– Ну раз собиралась... – И старушка, не давая себя уговаривать, направилась вверх по ступенькам.

– Бабо, может, я не пойду? – заскороговорила ей в спину внучка.

– Еще как пойдешь!

Марина ободряюще улыбнулась.

– Все в порядке, Маргарита.

Дождавшись, пока гости поднимутся на веранду, она предложила им сесть и ушла в дом.

– Перед кем только не приходится извиняться из-за твоих проделок! – хмыкнула бабо Софа. Ее обесцвеченные возрастом блекло-медовые глаза смотрели на внучку с укоризной.

– Так ты же не извинилась! – изумилась Марго.

– Мой приход сюда – уже извинение!

Чуть подвинув столик, чтоб не задеть его коленом, старушка пробралась к дивану, уселась и жестом пригласила внучку сесть рядом. Но девочка плюхнулась на табурет. «Как хочешь», – пожала плечами бабо Софа.

На веранду вышла Марина, неся поднос с дымящейся джезвой и чашками.

– Ей с молоком, – предупредила бабо Софа.

– Конечно.

Разговор не клеился. Перекинувшись дежурными фразами о жаре и взлетевших ценах на электричество, взрослые умолкли. Марго к своему кофе не притронулась, зато несколько раз, словно в поисках поддержки, оборачивалась к старому каштану.

– Брата высматриваешь? – с улыбкой спросила Марина.

– Нет! – смешалась девочка и, раздосадованная своей вынужденной ложью, густо покраснела.

Как она догадалась, что Левон там? Как она вообще могла об этом знать?

Марина достала из принесенного гостями пакета шелковую, насыщенного фиалкового цвета комбинацию, развернула ее, придирчиво разглядела. Провела пальцем по нежной серебристой вышивке, украшающей кружевной лиф, улыбнулась:

– Это подарок от очень дорогого моему сердцу человека.



Маргарита мигом навестила уши. Бабо Софа, покосившись на нее, нахмурилась, поставила со стуком чашку на блюдце:

– Спасибо за угощение, нам пора.

– Фруктов бы поели, они свежие, я утром купила.

– Обойдемся. Угости ими того, кто тебе эту комбинацию подарил!

Маргарита припустила вниз, позабыв попрощаться. Следом, обмахиваясь от жары концом шелкового платка и нарочито громко причитая, спускалась бабо Софа:

– Сгубила сад, вот и приходится фрукты на базаре покупать. Хотя если денег куры не клюют...

– Не клюют, – выстрелила ей в спину Марина.

На том и разошлись.

* * *

С каштана округу было видно, словно на ладони. Ниже, почти напротив – веранда, левее – окно спальни. Шторы были не задернуты, и при большом везении можно было застать Марину полуголой. Она имела привычку ходить в нижнем белье почти до обеда и только потом переодевалась в домашнее. Иногда, облокотившись на подоконник, она подолгу разглядывала одичалый сад, и золотистые от летнего загара ее плечи выделялись в проеме окна двумя светящимися крыльями.

Штору в спальне она задерживала лишь в том случае, когда к ней приходил мужчина. Как правило, он задерживался у нее на пару часов, но иногда мог и на ночь остаться. Левон знал, что он женат и что у него двое сыновей. С младшим они ходили на занятия в спортивную секцию по футболу. Тренер иногда ставил их в пару, и всякий раз, встретившись с ним взглядом, Левон невольно отводил глаза, ощущая себя соучастником неприятной, липкой истории.

Бабо Софа и Марго были уже далеко – еще немного, и скроются из виду. Бабо даже с большого расстояния смахивала на сахарный пончик – кругленькая, уютная, румяная. Маргарита переросла ее на целую голову. Она сильно вытянулась и похудела чуть ли не до прозрачности. Левон резко втянул ноздрями воздух. С недавних пор сестра раздражала его загадочным выражением лица. Спросишь, что с ней такое, многозначительно молчит или смотрит поверх твоей головы, будто тебя не существует. «Дура», – каждый раз выходил он из себя. Она фыркала с такой миной превосходства, что сразу становилось ясно, кто на самом деле дурак.

Левон часто заставлял сестру перед зеркалом – она вертелась так и сяк, то плечо выставит, то выпятит тощую попу, то задерет и без того коротенькие шорты и придиричливо разглядывает свои бесконечные спичечные ноги, а то, расправив на плоской груди футболку, встанет боком и изучает свой чахлый остов.

– Сисек никак не дождешься? – не вытерпев, съязвил он как-то и сразу же пожалел. Вместо обычного презрительного фыркания Маргарита кинула в него щеткой, которой битый час водила по своим непокорным волосам, обозвала идиотом, разразилась горькими слезами и убежала в свою комнату.

Левон, довольный тем, что никого из родных поблизости не оказалось и некому будет читать ему нотации, ускакал гонять до поздней ночи в футбол. По пути домой он вскарабкался на каштан и по задвинутым шторам вычислил, что Марина не одна. Не очень понимая, зачем это ему нужно, он пробрался во двор, порыскал вокруг дома, затем поднялся на веранду. Чуть не опрокинул сушилку для белья, не разглядев ее в темноте. Нашарил на ней что-то легкое, шелковистое, скомкал, спрятал за пазуху и был таков.

Дома его ждал выговор от родителей за то, что пришел поздно и что забыл мобильный. Хорошо, что он догадался сунуть украденное белье за дождевую бочку, иначе пришлось бы

отвечать и за него. Пока он наспех ужинал, дед шепотом, стараясь не привлекать ничьего внимания, прочитал ему лекцию о том, как плохо обижать девочек. Особенно тех, кому двенадцать лет.

– В этом возрасте они очень ранимые, потому что совсем не уверены в себе, – несколько раз повторил дед, делая особый акцент на словах «ранимые» и «не уверены».

«Нажаловалась все-таки», – подумал Левон, но обижаться на сестру не стал.

Доев кашу и сунув тарелку в посудомойку, он пошел спать, напрочь забыв о спрятанном за дождевой бочкой белье. На следующее утро его нашла бабо Софа и решила, что это дело рук Марго. Та топала ногами, обижалась и отнекивалась, но бабушка была непреклонна.

– Признавайся, где ты его взяла!

– Да с чего ты решила, что это я! – не выдержав, раскричалась Маргарита.

– Кто тогда, если не ты? Я? Твои родители? Дед?

– Может, Левон!

– Вот только не нужно за идиотку меня держать! – вскипела бабушка. – Зачем мальчику воровать чужую комбинацию? Что он собирался с ней делать? Носить?

Маргарита упрямо отказывалась признавать свою вину, поэтому бабушка дала ей время на размышления, а сама, распустив в теплой воде немного шампуня, постирала белье. К тому времени, когда она закончила, внучка знала всю правду – вытянула ее у брата.

– Ты только не выдавай меня, – попросил он сконфуженно.

– Не выдам, если скажешь, зачем ты это сделал.

Левон отвел глаза:

– Рассердился.

– Почему?

– Не знаю.

– Как это не знаешь?

– Так это не знаю.

– Она тебе нравится?

– Кто?!

– Марина.

– Ты что, совсем дура?

Марго щелкнула его пальцами по лбу.

– Ага. Воруешь белье ты, а дура, значит, я!

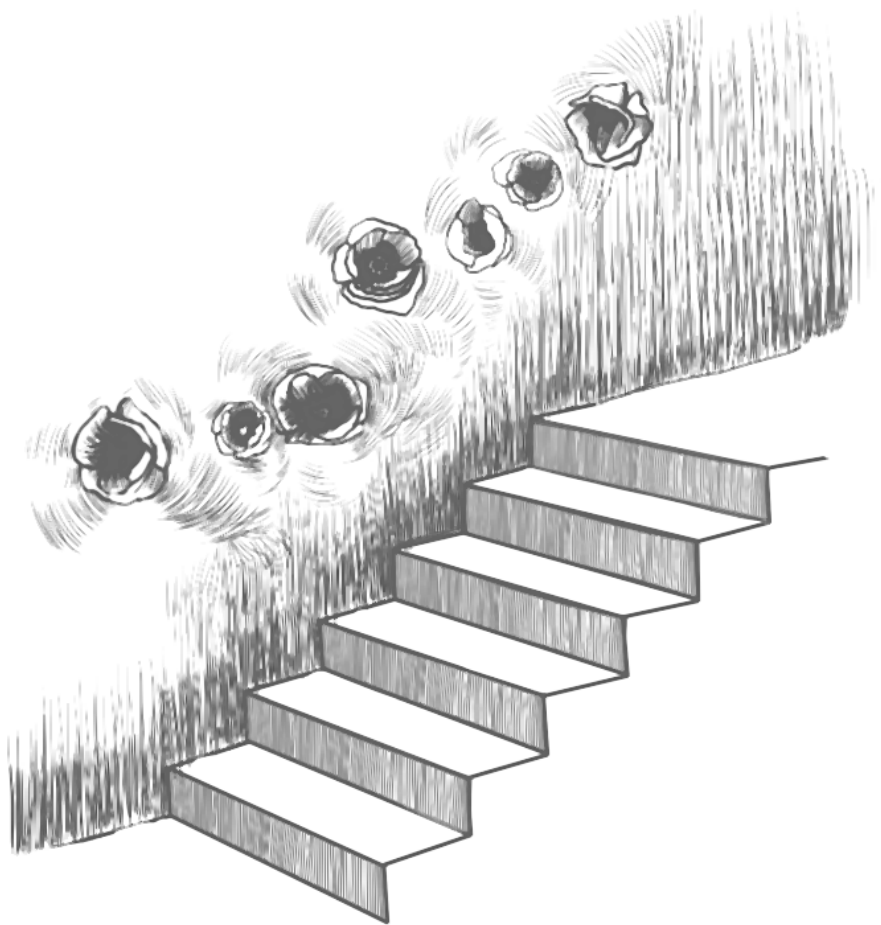
Левон нахохлился, но промолчал. Он даже под пытками не стал бы признаваться сестре, до какой степени его волнует Марина: каждое ее движение, каждый жест, каждый поворот головы сковывали его дыхание и волю. Он познавал себя совсем по-новому, представляя, как она ходит по комнате с распущенными по плечам волосами, в чем-то прозрачном и легкомысленном, как наблюдает за садом, облокотившись на подоконник, и в низком вырезе ее платья теснятся груди. Когда он думал о ней, мысли и чувства обретали форму и окрашивались в чернильный фиолетовый. Они пахли – сладко и навязчиво – фиалками. По языку растекалась тягучая жижа, вязла на зубах, сводила судорогой гортань, обдавала жаром нутро, разбегалась мурашками по телу. Он прислушивался к себе, одновременно пугаясь и радуясь переменам, происходящим внутри, и осознавал, что никогда, никогда ему уже не быть прежним. Он был благодарен этим переменам, потому что прежним быть не хотелось и не могло – детство захлопнулось, окуклилось, закончилось навсегда в тот невыносимый день, когда не стало Гевы.

Пять: красный

Каждый раз, поднимаясь или спускаясь по лестнице, ведущей на второй этаж, Левон прикасался ладонью к темным кружочкам на стене.

– Боишься, что они исчезнут? – спросила однажды идущая следом Астхик.

Левон остановился, прислушался к себе, нерешительно кивнул и продолжил свой путь. Шаг-касание. Шаг-касание. Он сам не знал, зачем это делает. Ему казалось, что именно за этой стеной и остался навсегда Гево, и никакой галькой, никаким пирамидами его оттуда уже не выманить. Поднимаясь или спускаясь по лестнице, он непременно притрагивался к этим пятнам и воображал, что на месте касания распускаются большущие маки. И вертятся, словно пластиковые цветы на игрушке-ветрячке. Идешь вверх – они вертятся по часовой стрелке, идешь вниз – против часовой. Двенадцать ступенек, двенадцать ярко-алых маков.



– Пять, – пришептывал Левон, притрагиваясь к стене. – Пять.

Он не особо любил красный цвет, ассоциируя его со злостью и гневом. А иногда – и с беспомощностью. Но маковый алый был совсем другим – сияющим, утешительным, наполненным жизнью.

– Пять, – шептал Левон, ничуть не сомневаясь, что брат его слышит. По-другому ведь быть не могло.

Ашун умерла через два дня после Гево. Перестала есть, не вылезала из конуры. Скулила – жалобно, почти неслышно, словно только для себя. Потом умолкла. Никто не обращал на нее внимания – попереживает, отойдет, всем невыносимо. Но Ашун решила по-своему. Деду, который в свое время принес ее домой в шляпе, говорить о ее смерти не стали, чтоб еще больше не нагнетать – он пока не оправился от сердечного приступа, лежал в больничной палате, обмотанный проводами. Плакал по внуку, если не спал. Иногда и во сне плакал. Левону очень хоте-

лось к нему, обнять, прижаться щекой к пахнущей табаком бороде, зарыться кулачками в его большие шершавые ладони... Но в палату никого, кроме бабушки, не пускали. Дома было суетно, некуда было приткнуться, чтобы обдумать и осознать свое собственное горе. Иногда Левон этому даже радовался – сутолока немного отвлекала. Женщины были заняты готовкой – бабушка настояла на том, чтобы поминальная трапеза состоялась дома. В больших кастрюлях тушилась ягнятина с овощами, разваривалась с копченым салом пшеница. Мелькали ножи, снимая с упитанных рыбьих боков серебристую стружку чешуи, пеклась соленая гата. Мужчины выносили из гостиной мебель, освобождая место для столов. Левон с охотой им помогал, старался. Его, как самого маленького и быстрого, часто гоняли в погреб – то за овощами, то за топленным маслом, то за мукой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.